

где бы мы, русские люди, ни жили, в каком бы положении мы ни находились, нас никогда в нужде не покидает скорбь о нашей родине, о России — это естественно и неизбежно: эта скорбь не может не должна нас покидать, она есть проявление нашей жизни, нашей любви к родине и нашей веры в нее.



Русское сопротивление

чтобы быть и бороться, стоять и победить, нам необходимо верить в то, что не всякая благодать и счастье русского народа, что не оскудел в нем божий дар, что по-прежнему, лишь на поверхности омраченное, живет в нем его истинное боговсприятие, что это омрачение пройдет и духовные силы воскреснут, те

и наши борющиеся лишатся этой веры, утратят цель и смысл национальной борьбы, и тогда, в силу своего бессилия, они перестанут видеть Россию в будущем, они будут думать, что они ее потеряют, выйдут из ее

СЮРИЙ
СЕЛЕЗНЁВ

В мире Достоевского.
Слово живое и мёртвое

русским значит созерцать Россию в божьем луче, в ее вечной ткани, ее непреходящей субстанции, и любовью принимать ее, как одну из главных и заветных святынь своей личной жизни, быть русским значит верить в Россию так как верили в нее все русские великие люди, все ее гении и ее строители, только на этой вере мы сможем утвердить нашу борьбу за нее и нашу победу может быть, и не прав тюльчев, что в Россию можно только верить, ибо ведь в разуму можно многое сказать о России, и сила воображения должна увидеть ее земное величие и ее духовную красоту, и воле надлежит совершить, утвердить в России многое, но и вера необходима: без веры в Россию мы сами не проживем, и ее не восродим.

Юрий Селезнев

**В мире Достоевского.
Слово живое и мертвое**

«Алисторус»

2014

Селезнев Ю. И.

В мире Достоевского. Слово живое и мертвое / Ю. И. Селезнев —
«Алисторус», 2014

Статьи и книги выдающегося русского литературного критика, литературоведа, публициста Юрия Ивановича Селезнёва (1939–1984) были событием в критике 70—80-х годов XX века, вызвали жаркие и долгие споры, эхо которых звучит и поныне. Недолгим был его земной путь, но сделанное им по сей день объясняет многое в произошедшей позднее в России трагедии. Осознание Юрием Селезневым опыта русской литературы и истории нового времени прошло через исследование нравственного, философского и политического мира Достоевского. Его творческим подвигом стала книга «Достоевский» – одна из лучших биографий за всю историю существования знаменитой серии «ЖЗЛ». Книга избранных работ Юрия Селезнёва для читателя – прежде всего истинное познание русской жизни и русской классики. И потому необходима она не только учителям, студентам, аспирантам и преподавателям гуманитарных вузов, но и всем, кому дорога отечественная словесность.

© Селезнев Ю. И., 2014

© Алисторус, 2014

Содержание

Взявший на себя ответственность	6
I. Златая цепь	17
Глазами народа	17
1	17
2	20
3	24
4	26
5	28
6	29
Златая цепь, или Опыт путешествия к первоистокам народной памяти	36
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Юрий Селезнев
В мире Достоевского.
Слово живое и мертвое

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»

© Селезнев К.И., наследники, 2014

© Разумихин А.М., предисл., 2014

© Куняев С.С., послесловие, 2014

© ООО ТД «Алгоритм», 2014

Взявший на себя ответственность

*Собыют с ног меня – поднимется в России другой человек.
Юрий Селезнев*

Не могу вспомнить, как мы познакомились. Вот с кем меня знакомил Селезнев – помню. А кто и где нас познакомил – нет. Такое впечатление, что были знакомы всегда. Не исключаю, что впервые услышал его имя от Коли Машовца или Лени Асанова. А могло быть все куда проще. Будучи тогда редактором (заведующим отделом литературоведения и критики) журнала «Литература в школе», я обратил внимание на очередную селезневскую публикацию и сам вышел на него как на потенциального автора – обычное для меня дело.

В литературной табели о рангах конца 70-х – начала 80-х его имя официально было прописано просто и без затей – молодой критик. С одним разве что добавлением. Среди очень разных – по месту профессионального рождения, по социальному происхождению, по образованию и воспитанию, по симпатиям и антипатиям как человеческим, так и литературным, по уму, таланту и характеру, по близости к той или иной литературной партии или группировке и, самое главное, по целям, какие каждый ставил перед собой на писательском пути, – молодых критиков той поры Юра Селезнев был старшим и сегодня, уже как само собой разумеющееся, можно сказать – самым талантливым среди молодых.

Хочу быть правильно понятым. Да, по дате рождения Селезнев 1939 года. Но, надо быть справедливым, отделить его от критической поросли сороковых, к которой принадлежу сам, просто невозможно. Это, во-первых.

А теперь, во-вторых, почему «Юра», а не «Юрий» или «Юрий Иванович», что за фамильярность? Вспоминаю те дни. При встречах в его кабинете в издательстве «Молодая гвардия» или в журнале «Наш современник», в коридорах ЦДЛ и кулуарах всевозможных писательских собраний, пленумов, съездов и даже у него дома мы неизменно называли друг друга по имени-отчеству. Но во всех разговорах с другими критиками, где всплывало его имя (а оно возникало почти всегда как по мановению волшебной палочки в том кругу, в котором я тогда вращался), все иначе как Юрой Селезнева не звали. Это было как в семье, где никто никогда не называет друг друга полным именем. Кроме того, для молодых он был как бы тоже молодым, и значит «Юра». А старшие, предпочитая поглядывать с высоты своего возраста, находили его безусловно молодым, а потому тоже «Юра».

Наши отношения сложились как-то сами собой. Мы встречались, разговаривали, сотрудничали, обсуждали, кажется, все, кроме личной жизни. Разумеется, это не были отношения совершенно на равных. И дело вовсе не в семи годах разницы. Просто я хорошо сознавал, что Селезнев лучше меня информирован во многих вопросах, имеет большие связи в писательских кругах, и не только в них. Но не это главное! Рано или поздно в любом общении с человеком всегда наступает момент, когда задаешь себе простой вопрос: с кем ты имеешь дело? Продолжать поддерживать *дипломатические* отношения, потому что это нужно, бесполезно, выгодно; ну куда без этого деться, в конце концов, не конфликтовать же? Или принять человека как своего, открыться перед ним, пойти навстречу без всяких раздумий о полезности?

В случае с Юрой все было куда ясней ясного. Идеальных людей не бывает. Селезнев мог (и часто) не сдержать слова и не написать к назначенному сроку обещанную тебе статью (при его очевидной для меня занятости немудрено).

Как обычно ведут себя авторы, просрочившие сдачу запланированного материала? «Я не успел, но это твои проблемы», – самая распространенная реакция. Или: «Ну еще немножко, я вот-вот закончу, ты мне верь, я тебя не подведу» – в моем редакторском опыте есть случай, когда автор завершал книжку в 8 авторских листов, уже написав 6 из них, более трех лет и каж-

дый раз: «Я, конечно, мерзавец, но к следующему четвергу рукопись будет у тебя! Я так тебе благодарен, что ты ждешь!» Кто-то бравирует: «А я вот такой! Все знают, что я необязателен! Но я – это я! Подождешь, ничего с тобой не случится! Если что, я всегда это куда-нибудь пристрою!» Другие ищут у тебя же сочувствия, бьют на жалость: «Понимаешь, обстоятельства!» И затем следует перечисление кучи причин (никогда не бывает одной, их обязательно масса), по которым материал не был написан вовремя.

Селезнев никогда не юлил, не выкручивался, не врал, всегда винил себя. Тут же входил в твое положение редактора, которого поджимают сроки выхода номера журнала, и вместе с тобой начинал искать выход. Если понимал, что не в состоянии успеть, находил замену: другим материалом или другим автором. Как мог помогал привлечь еще одного, другого, третьего автора. Это был профессионализм высшего класса.

Именно в таких или похожих случаях происходили мои последующие знакомства с Жорой Анджапаридзе, Славой Горбачевым, Владимиром Енишерловым, Витей Калугиным, Витей Кречетовым, Юрой Лощицем, Сережей Лыкошиным, Витей Гуминским, Володей Липиным, Петром Паламарчуком, Игорем Штокманом, Володей Левченко, Сергеем Семановым и Любовью Левко, Ниной Подзоровой, Севой Сахаровым, Борисом Тарасовым, Сергеем Небольсиным.

Как это было? Тут на память приходит эпизод, когда мне в журнал срочно понадобился статейный материал о Викторе Астафьеве. Я заглянул к Селезневу в «Молодую гвардию», мол, в редакции «Литературы в школе» сложилась ситуация, когда мне крайне необходимо «уравновесить» тематику содержания одного готовящегося журнального номера статьей, допустим, об Астафьеве. И попросил: «Напишите, ведь Вам это близко». Юра задумался, а потом говорит: «Соблазнительно, только по времени не смогу. Но пошли со мной – сейчас все устроим».

Идти пришлось совсем недалеко – в кабинет напротив, где сидел Юра Лощиц. «Лучшего автора, уверен, не найти!» – это в мою сторону, а Лощицу: «Надо помочь, просят меня, но я прошу тебя». К нужному времени статья была написана, и статья замечательная.

К слову сказать, я имел возможность приглядываться к Селезневу не только как к критику, но и как к руководителю редакционного коллектива. То есть наблюдать его как человека в роли начальника. Позволю себе воспроизвести один эпизод из жизни того времени, связанный с еще одним молодым критиком, Витей Калугиным. Впрочем, чистой критикой Витя занимался немного. Для большинства читателей он прежде всего автор примечательной книги «Струны рокотаху... Очерки о русском фольклоре», в которой воссоздано более 50 «портретов» главных героев народного эпоса и очень доступно рассказано об истории собирания и изучения былин.

Любовь к русскому фольклору и свою творческую работу Витя совмещал с редакторской. Собственно, на редакторской стезе мы с ним и познакомились. Вернее, это опять же тот случай, когда «свахой» был Юра Селезнев, в редакции которого Калугин тогда работал. Судьбе угодно было наши отношения закрутить в довольно причудливую спираль, из которой сейчас я особо выделю всего один любопытный виток.

Это эпизод в кабинете Юры Селезнева, который при мне довольно резко распекает понуро стоящего Витю за опоздание на работу и, самое главное, за срыв сроков подготовки и сдачи какой-то рукописи. И, как я понимаю, подобный разговор на эту тему между ними не первый. Выплеснув гнев, Юра отправляет Калугина в кабинет напротив, на его рабочее место:

– Иди, и чтобы в следующий раз я тебя увидел здесь с готовой рукописью!

– Юрий Иванович, – как только дверь за Витей закрылась, говорю я с присущей молодости бескомпромиссностью, – зачем вы держите такого редактора, которому приходится по десять раз говорить одно и то же?

А в ответ селезневская улыбка:

– Это я для профилактики. Он ведь влюбился и ходит, ничего не соображая. Думаете, Витя сейчас много слышал из того, что я ему тут говорил? Ничуть! Он стоял и витал где-то в облаках, думая либо о ней, либо о том, когда и где с ней увидится.

Я специально вспомнил этот эпизод, в котором вроде бы выгляжу не самым приглядным образом, но ведь я пишу не о себе, а о Селезнев!

Считается, что большое видится на расстоянии. Так вот, Юра, безусловно, здесь исключение! Потому что только вблизи можно было понять образ его жизни, увидеть, как он работал, как – сегодня можно смело сказать – творил.

Из московских критиков, с кем мне на протяжении нескольких десятилетий в литературе доводилось иметь дело, готов назвать интересных, по-настоящему разносторонних, остроумных профессионалов. Но по прошествии лет с грустью должен признать, что Юра Селезнев, вдохновенно-стремительный и в слове, и жизни, – из всех собратьев по перу, с кем судьба сталкивала, – один из немногих, кого могу признать человеком с безупречной и человеческой, и профессиональной совестью.

Для большинства Юрий Селезнев – это несколько его книг, прежде всего о Достоевском в сериях «Библиотека «Любителям российской словесности» и «Жизнь замечательных людей», острые, с четко направленным ударом полемические статьи, и организаторская работа по выстраиванию позиции книг редакции «ЖЗЛ».

Немногие знают, сколько Юрой написано помимо изданного. Нет, не в стол. Не для массового читателя. А для читателей особенных. Должность заведующего редакцией издательства «Молодая гвардия» – номенклатура ЦК ВЛКСМ. Сколько многостраничных докладных, обширных согласований, глубоких объяснительных, обстоятельных сопроводительных, развернутых тематических планов с комментариями и мотивировками написано им за эти годы – целое собрание сочинений! Сколько отчетов «на ковре» и вынужденной силовой борьбы «под ковром»! Сколько на это уходило сил!

Он вынужден был играть во все эти игры советского времени. А потом радовался, как ребенок, когда удавалось сохранить свою линию. «Сегодня утвердили позицию в темплане на... – назывался кто-то из ряда русской классики – принято, что автором книги о нем будет...» – произносилось какое-нибудь звучное имя вроде Е. Носова, В. Распутина, В. Лихоносова. Я глядел на него с недоумением:

– Да он же никогда не напишет этой книги! Зачем это ему надо?

– Конечно! Зато позиция в темплане забита и рукопись... – он показывал заявку автора из «чужого» лагеря – редакция принять не может. А за нее уже хлопчут. Так что не зря велась предварительная работа, вся эта писанина с продвижением и оформлением заявки-муляжа. На войне как на войне. Мы найдем другого автора!

Или в другой раз. Прихожу, как договаривались, днем к нему на работу. Юры нет. Жду – Юры нет. Спрашиваю у ребят в редакции – отвечают, что Юра не звонил, значит, должен быть, где-то задерживается. (Напомню, что события происходят в пору, когда мобильных и в помине не было.) Время у меня есть, надобность во встрече тоже – жду. Наконец во второй половине дня он появляется. Первое, что видится, – его покрасневшие, отекающие глазницы и больше обычного воспаленные глаза.

Вообще должен сказать, селезневские глаза – тема особая. Сережа Лыкошин и Юра Лоциц уже писали о том, какие это были удивительные глаза: ясные, сияющие страстью, чуть прикрытые, с устремленным вдаль прозрачно-голубым взглядом. И это правда. Но меня поражало другое. Его глаза почти всегда были воспаленными от многочасового письма прежде всего по ночам. И еще. Мне постоянно казалось при взгляде на Селезнева, что я вижу глаза самого Достоевского, причем в период уже после отмененной казни. Было в его глубоком, провидческом взгляде что-то такое, от чего по тебе пробегал холодок. Словно Юра заглянул в какую-то жуткую бездну и теперь его глаза вопрошают, что же делать с увиденным.

Спрашиваю:

– Что-то случилось?

В ответ нескрываемая радость:

– Завтра в «Комсомолке» появится моя статья к 120-летнему юбилею Чехова.

Я, честное слово, не очень понимаю Юрину радость. Ну еще одна газетная публикация.

– И что, ради этого, небось, опять всю ночь сидели?

– Конечно, даже не прилег, еще и утро прихватил!

– Какая же необходимость была? Что, нельзя было написать чуть раньше, спокойнее, хотя бы вечерами, и сдать не в самый последний момент?

Вроде не сердится, но радостных искорок в глазах становится меньше.

– Времени, как всегда, поверьте, не было – два последних дня сочинял очередную объяснительную по составу следующего «Прометей». Директору издательства из ЦК комсомола пришла «телега». Вот я и отписывался. А автору кляузы, смею думать, статью о Чехове писать не надо было. Но я все равно успел. И главное, материал отдадут дежурному редактору в самый последний момент, когда никто никуда его передать для ознакомления уже не сможет, – искорки в глазах вновь вспыхивают. – Пришлось, конечно, в конце абзац вписать, прямо там, в редакции, про сестру Ленина, которая вспоминает разговор с Володей о «Палате № 6». Да еще добавить обязательные слова про «гражданина великой Советской Родины» – без этого разве можно представить Чехова?! Но читатель не дурак, он тоже все понимает! Зато что хотел, сказал! Не стыдно будет.

Это не любопытный эпизод – в таком ритме он жил все отпущенные ему судьбой годы! Нынче в ходу слово «трудоголик», раньше с долей усмешки произносили «трудяга». Селезнев не был таким. Он был редчайшего качества тружеником, который никогда не «пахал» – еще одно модное словечко, – а просто жил. Но жизнь его была столь насыщенной и напряженной, что уму непостижимо. Причем жил он не самоутверждением, а самоотдачей. И это было не природное качество (что подделаешь, в генах заложено!), а его философия жизни. Селезнев, человек исключительно добрый и честный, был убежден, во-первых, что иначе жить не стоит, во-вторых, что слово и дело неотделимы. Такие вот два жизненных принципа. И не от случая к случаю, а постоянно – каждый день, каждый час, каждую минуту.

Говоря сегодняшним языком, он был звездой, правда, никогда не звездившей, а светившей другим. Он радовался чужому успеху, в нем не было зависти, ему никогда не хотелось «утопить» коллегу только за то, что из-под его пера вышла удачная книга, статья, абзац, фраза, слово... Редкое, замечу, в нашем писательском цеху качество!

Любое сравнение хромает, но если сравнивать, то я бы сказал: Юра не был владельцем автомобиля, простаивающего в гараже, он был автогонщиком – человеком опасной профессии, – который не пропускал ни одной гонки.

Желание, стремление и умение так жить – это особый талант. И, как любой талант, нравящийся далеко не всем. Уже много позже мне попались в Интернете строки о Юре, автором которых оказался Сева Сахаров. Тот самый, кого мне в свое время рекомендовал Юра как одного из перспективных молодых критиков. После чего тот даже написал по моей просьбе статью в «Литературу в школе». Но речь не об этом. Вернусь к ранее сказанному, что хотеть и уметь трудиться по-настоящему желают отнюдь не все. Человек, о котором мы оба (Сахаров и я) говорим, вроде бы один и тот же, а вот видится он нами по-разному.

Я считаю, что Юра делом хотел доказать то, что дерзнул утверждать.

Сахаров пишет: «Юра все знал и понимал лучше меня, был старше и многоопытнее, очень закрыт, недоверчив, опаслив, всегда больше выпрашивал и слушал, нежели говорил сам, – сказывалась школа, полученная в наших спецвойсках на Кубе. Никогда не видел его пьяным. Я по-студенчески простодушно веселился три аспирантских года... ему надо было выбиться в люди номенклатуры и остаться в Москве...»

Сахаров простодушно веселился, по его же собственному признанию, а Юра безудержно трудился. Вам ничего это не напоминает? Прямо-таки живая иллюстрация к басне Крылова. Стрекоза, помнится, тоже никак не могла взять в толк, что это Муравей не рань свет начинает и в ночь-заполночь заканчивает. «Простодушным» такие и впрямь кажутся очень закрытыми, недоверчивыми, опасливыми. До чего же мудр был Иван Андреевич! Не берут его годы.

Сегодня, когда минули-канули долгие застойные, перестроечные и смутные времена, которых он не застал, имя Селезнева тем не менее не ушло в небытие. Оно нередко слышится из уст разных людей, и знавших его, и только читавших о нем, но во всякие дни умело находившихся на гребне критической волны и которые своими публикациями продолжали «увечивать» тех или иных писателей. Юра был не из таких.

Сегодня особенно заметно, что Селезнев в литературе был не просто правильным, серьезным, принципиальным, острым критиком. Это был прежде всего открытый и честный русский человек, имевший свою позицию, умевший ее отстаивать, не впадая в политиканство. Он писал критику чистыми руками.

Не потому ли нынче, причисляя его в свои сторонники и соратники, хотят видеть Селезнева под своими знаменами именно те «отцы патриотики», «титаны» и «подвижники», кому открытости, принципиальности и честности явно не хватает, зато в ком политиканства хоть отбавляй?

Однако по прошествии многих лет, как это часто случается, появились даже умельцы-мифотворцы, пытающиеся сделать себе имя на писаниях о Селезневе. Один из таких «писателей» в газете «Литературная Россия» недавно поведал миру свое видение того, как Юра появился в Москве:

«В 1970 году Юрий Селезнев, преподаватель русского языка для иностранных студентов, мечтавший о научной работе, приезжает из Краснодара в Москву на «разведку». Приезжает наобум, ибо даже не знает, к кому можно обратиться за помощью. Случайный выбор пал на Льва Аннинского.

Сей факт, думаю, свидетельствует о неосведомленности Селезнева в нюансах литературной борьбы, в том, какую позицию занимает конкретный автор.

...Трудно предположить, как бы сложилась судьба Юрия Селезнева, если бы в свой первый приезд в Москву он не встретил Вадима Кожинова. Будем благодарны Льву Аннинскому за то, что он правильно оценил ситуацию, безошибочно понял, кто нужен кубанскому филологу, и направил его к Кожинову».

Поразительно, но в стольких фразах истине соответствует лишь одна-единственная строчка, сообщающая, что в 1970 году Юрий Селезнев приезжает из Краснодара в Москву. А как все происходило на самом деле? Действительно, почему «выбор пал» на Льва Аннинского? Вернее, был ли вообще пресловутый «случайный выбор»?

Попробую воспроизвести ситуацию, как я ее знаю. Приехав в Москву, Юра совсем даже не наобум отправился «за помощью» по самому естественному пути – к землякам. Ими была семья – по стечению обстоятельств родственники довольно известного философа Арсения Гульги. В кругу этих людей и возникла мысль обратиться к Аннинскому. Почему именно к нему? Очень просто – семья поддерживала дружеские отношения с Львом Александровичем. Не исключаю, что в ту пору они его вряд ли так называли, и был он для них соседом по дому Левой. Ему позвонили и попросили заглянуть. Тем более что и он тоже земляк – ростовский. Аннинский поднялся этажом выше, где ему и представили молодого человека.

Перед Львом Александровичем, надо сказать прямо, в тот момент не стояло задачи «правильно оценить ситуацию, безошибочно понять, кто нужен кубанскому филологу, и направить его к Кожинову». Собеседования с молодым земляком он не проводил. Экзамена ему на тему знания нюансов литературной борьбы не устраивал. За выяснение, какую Юра позицию зани-

мает и к какому лагерю в дальнейшем намерен примкнуть, он тоже не брался. Поэтому даже тени проблемы, к кому направлять, к Лакшину или к Кожинovu, у него не возникло.

Селезнев сам напрямую спросил Аннинского, нет ли у того возможности свести и познакомиться с Кожинovым. Так что каких-то очевидных «свидетельств о неосведомленности Селезнева в нюансах литературной борьбы» я здесь не нахожу. Однако продолжу следовать за течением событий.

Аннинский, сегодня это всем известно, с Кожинovым был очень даже хорошо знаком еще с университетских времен. То есть с тех пор, когда он, как сам признается, Кожинovu буквально «глядел в рот» – не скажу, что преклонялся, но восторгался, это точно. Правда, позже оказались друзья-приятели, Аннинский и Кожинov, вроде как по разные стороны баррикады. Но это на «литературных подмостках», а по-житейски и отношения поддерживали, и разговоры «за жизнь» при случае вели.

Поэтому возможность обратиться непосредственно к Кожинovu у Аннинского была. Что он и сделал, набрав номер его домашнего телефона. И спросил, может ли тот принять молодого филолога, выпускника краснодарского пединститута. Всех знавших Вадима Валерьяновича несколько не удивит, что приглашение на встречу последовало – Кожинov в этом отношении напоминал ювелира, который любит брать в руки необработанный камень, чтобы определить его дальнейшую судьбу.

Юра часто делился со мной тем, во что обычного знакомого-приятеля никогда не посвящают. Однако это вовсе не означает, что Юра был болтуном или способным врать как очевидец. И здесь самое время затронуть очень болезненную тему, о которой кто только уже ни писал. Я имею в виду ситуацию его снятия с должности первого зама главного редактора С. Викулова и изгнания из «Нашего современника».

На сегодняшний день существует немало версий происшедшего: с сокращенными, комментированными и полной стенограммами заседания Секретариата Правления Союза писателей РСФСР от 07.12.81. (обсуждением 11 за 1981 год журнала «Наш современник»), Я не собираюсь говорить, что я не верю даже полной стенограмме, потому как не я один знаю, что всевозможные стенограммы, когда это было нужно, правились, усекались в стенах Союза. Я лишь хочу сказать, что, во-первых, принятие решения сопровождалось множеством нестенографируемых бесед и разговоров как в Союзе писателей, так и на Старой площади; во-вторых, мне довелось слышать комментарий событий от самого Селезнева.

Впервые о складывающейся ситуации, при которой не исключено, что в обозримое время он станет главным редактором «Нашего современника», Селезнев сказал мне уже вскоре после перехода в журнал весной 1981 года. Я зашел к нему в редакцию, мы немного поболтали в его маленьком кабинете, а потом вышли продолжить разговор «не для чужих ушей», прохаживаясь по арбатским переулкам. Да, возраст Викулова. Да, отголоски для того скандала с публикацией романа Пикуля «У последней черты». Да, напряженные отношения Викулова со многими известными писателями. Журнал должен объединять, а главный многих отталкивает. Да, конечно же, на его сторону, полагал Юра, встанут ведущие члены редколлегии В. Белов и В. Распутин. Да, есть некая поддержка в большом ЦК. Но главное, вопрос уже обговорен с Юрием Бондаревым, который очень заинтересован, чтобы место главного занял более энергичный и авторитетный человек, пришедший от него и, значит, ему этим вроде как бы обязанный. Журнал все же писательский, и позиция Бондарева здесь много значит. Тут Юра, как мне кажется, немного мерил былыми комсомольскими мерками, но сказать, что он был в корне не прав, нельзя.

Несколько позже Юра рассказал о своем предположении Викулову попробовать вести номера журнала поочередно. Мол, и вам, Сергей Васильевич, будет легче, и сможете увидеть, на что я способен, – журнал от этого только выиграет. Так что история с 11-м номером, который вел Селезнев, когда Викулов был в отпуске, могла в другой ситуации иметь продолжение.

Появление Селезнева в качестве первого зама С. Викулова самой редакцией было воспринято, мягко говоря, неоднозначно. Нарушались сложившиеся устои. Приход Юры вносил осложнения в привычную редакционную жизнь. Начальником становился молодой амбициозный писатель, получивший широкую известность своей книгой «В мире Достоевского», человек, которого отличали серьезное образование и широта взглядов, прекрасно ориентировавшийся в различных течениях современной общественной мысли, лично знакомый с большинством ведущих писателей и потому способный (а главное желающий!) вывести журнал «Наш современник» на качественно новый уровень.

Реакция на круги по воде не заставила себя долго ждать – первым был заменен заведующий отделом критики. Насколько я помню, должны были последовать и другие кадровые подвижки. По сути, редакторский корпус разделился на два лагеря: не желающих перемен и не особо возражающих против них. Вот только единомышленников не было. Не оказалось рядом такого человека, как Юра Лощиц, с которым Селезнев работал и дружил в редакции «ЖЗЛ».

Я, наверное, единственный раз употреблю это слово «дружил» в своем рассказе о Селезневе. Единственный, потому что не знаю иных действительно друзей Юры. И не могу вспомнить среди писателей, кого доводилось знать, другого примера столь же крепкой, настоящей мужской дружбы между двумя творческими личностями.

Были у Селезнева коллеги: критики, литературоведы, писатели, – с одними отношения складывались лучше, с другими хуже, третьи откровенно ненавидели Селезнева. Были соратники, многие, как это часто случается, до первого поворота или первой напасти. А друг был единственный – Юра Лощиц. Такими, во всяком случае, мне виделись их отношения.

Своя система отношений у Селезнева была с Вадимом Кожиновым, своя – с Валерием Ганичевым, своя – с Сергеем Семановым, своя – с Анатолием Ланщиковым, своя – с Сережей Лыкошиным. Я называю здесь тех, с кем у него были, как мне кажется, довольно тесные отношения. Но называть их друзьями я бы не стал. Почему?

Вадим Кожинов был первым, с кем в Москве сошелся Юра. От самого Кожинова знаю, что по приезду в столицу из Краснодара Юра какое-то время даже работал у Вадима Валерьяновича помощником (если не вру, то он и жил тогда на даче Кожинова). У них было много общего, Селезнев часто советовался с Кожиновым, но как назвать их отношения: учитель – ученик, соратники, единомышленники? – затрудняюсь сказать, но друзьями – не стал бы. И есть на то причина.

И дело вовсе не в том, что от Юры я знаю, как критическая статья уважаемого мной Вадима Валерьяновича «И назовет меня всяк сущий в ней язык...» (Заметки о духовном своеобразии русской литературы) появилась на страницах 11-го номера «Нашего современника». Селезнева не все в этом материале устраивало, и он, честно говоря, собирался ее попридержать, но Кожинов настаивал. Я бы даже здесь употребил слово «категорически» настаивал, применяя, на мой взгляд, не самый «чистоплотный» прием, когда говорил Селезневу: «Ты же не хочешь, чтобы мы поссорились! Викулова нет. Ты ведешь этот номер, тебе и решать – так решай!» Юра не посмел отказать Кожинову. Нет и мысли предполагать, что провоцируя Юру таким образом на публикацию своей статьи, Кожинов думал, что для всего пять месяцев пребывающего в журнале Селезнева все обернется так, как это случилось. Но обернулось! И опять вопрос: почему?

Дело в том, что у каждого, с кем у Юры были особые отношения, вновь очерчу этот круг: Бондарев, Кожинов, Ганичев, Семанов, Ланщиков, Лыкошин, – были свои, нет, не амбиции, были свои виды на роль Селезнева в движении, какое в нынешние дни спокойно называется «русской партией». Кто-то из них хотел занять лидирующее место с перспективой на будущее вождя, кто-то – идеолога современного русского национализма, поэтому пропускать вперед соперников не спешил, наоборот, при любом удобном случае притормаживал. Исключение разве что Лыкошин – по очевидной молодости, да Ланщиков, который по характеру не рвался

в вожди (к тому же, насколько я знаю, он был все же ближе к Петру Проскурину, нежели к Бондареву).

У Семанова, однако, именно тогда были серьезные проблемы по линии КГБ: он в это время находился практически под следствием. Ганичеву приходилось тоже совершать вынужденный вояж из «Молодой гвардии» в «Комсомольскую правду», а оттуда в «Роман-газету». Наверху оставались Бондарев и Кожин – один чем не вождь, другой, соответственно, идеолог. Селезнев мог составить конкуренцию обоим, но прежде всего первому. С Кожинным он бы просто не стал конкурировать – эпизод с публикацией «И назовет меня всяк сущий в ней язык...» (Заметки о духовном своеобразии русской литературы)» тому яркое подтверждение.

А вот для беспокойства Бондарева, полагаю, основания были. Водной из публикаций Вячеслав Огрызко как-то обронил: «Меня, например, смущает уже то обстоятельство, что Викулов ни слова не говорит о том, кто же конкретно навязал ему Селезнева в первые заместители. Неужели это есть страшная тайна?» Нет тайны – Юрий Бондарев. Так, во всяком случае, мне говорил Селезнев. И тот же Бондарев первым сдал его. Больше того, от Селезнева знаю, что накануне заседания Секретариата у него была встреча с Бондаревым, на которой он получил заверения, что все обойдется.

Одно лишь странным видится мне и в воспоминаниях С. Викулова, и в вопросе В. Огрызко – слово «навязал». Что значит «навязал»? Тогда это выглядело иначе – рекомендовал и убедил. Каким образом и почему Викулов принял рекомендацию? – другой разговор. Мне кажется, в воспоминаниях самого бывшего главного редактора «Нашего современника» легко прочитывается ответ на вопрос. Это когда Викулов объявляет, будто он после публикации романа Пикуля находился на грани увольнения, и если что и спасло его, так это твердая позиция Юрия Бондарева и Феликса Кузнецова, грудью вставших на защиту журнала перед коварными аппаратчиками из ЦК КПСС.

Насколько от обоих реально зависело тогда «спасение» Викулова – не суть дела. Даже если мало что зависело, при положительном решении сверху сказать, что ты как мог «упирался» и голову был готов положить «за други своя», и только это помогло, среди аппаратчиков явление самое обычное, даже повседневное. Так что Викулов и впрямь мог слышать от Бондарева (такое никогда не скрывается, а наоборот, афишируется), что тот имел непосредственное отношение к его спасению после публикации Пикуля. Поэтому пойти навстречу убедительной просьбе спасителя, что называется, сам бог велел.

Уровень (не критический градус, а именно уровень) разговора на Секретариате был, говоря языком нынешней молодежи, «ниже плинтуса». Нет необходимости воспроизводить слова, например, Викулова, я лишь процитирую одну реплику Бондарева, чтобы была ясна «научность» подхода советского писателя-классика: «В интересной во многом статье Ланщикова мне показалось чрезмерным противопоставление Достоевского Чернышевскому, потому что два великих человека – Достоевский и Чернышевский – наши союзники, два великих человека, которых мы не должны разъединять во имя величия нашей литературы». Вот так: «Не должны... во имя величия нашей литературы!» А как оно было на самом деле – никого не должно волновать. Большевицкий принцип целесообразности велит не разъединять!

После Секретариата, повторю, Юра воспринял поведение Бондарева как предательство. Так ли это? Мне представляется, предательство – это когда тебя не спасают, отмалчиваются, разводят руками. А тогда Юрий Васильевич руками не разводил, он ими топил Селезнева. Чуть позже Вадим Кожин при встрече рассказал мне, а затем и в печати воспроизвел реплику из заключительного слова Бондарева на заседании Секретариата в адрес Викулова: «Сергей Васильевич, вы должны подумать о какой-то перегруппировке сил... чтобы вам было сподручно и удобно командовать...» Как по-писательски свежо и мягко прозвучало – обычно тогда говорили куда проще и доходчивей: «следует укрепить кадры» или «решить кадровый вопрос» – общепринятые формулировки.

Но это лирика. Существеннее другое – почему тогда так поступил Бондарев? И каким образом информация о том, что Юрий Селезнев – «засланный казачок», т. е. конкурент Сергею Викулову, уже тогда, по возвращении главного редактора из отпуска, была доведена до сведения Викулова сотрудниками редакции? Если исходить из принципа «ищи, кому это выгодно», то сегодня я больше чем уверен: информация эта через «доверенных» людей была вброшена в редакцию самим Бондаревым. Именно в расчете на то, что она дойдет до ушей Викулова. Из чего я делаю такой вывод?

Мог ли Секретариат ограничиться «разносом»? Вполне. Напомню: в это же время упорство парткома Московской писательской организации, так и не исключившего Семанова из партии, несмотря на давление ЦК (т. е. того же А. Беляева, закулисного участника событий и с Селезневым, по мнению многих), спасло его от ареста (тогда ведь член партии не мог быть осужден до исключения из ее рядов). В случае с Юрой Секретариат тоже мог занять аналогичную позицию. Слова, звучавшие на заседании, могли быть какими угодно «страшными» и «рычащими» – оно и понятно, стенограмма, конечно же, самое позднее на следующий день проследовала с курьером на Старую площадь. Но достаточно было в конце Бондареву произнести слова, что, «принимая во внимание осознание Селезневым своей вины, непродолжительность пребывания на посту первого зама, молодость и несомненный талант», Юрий Иванович должен в дальнейшем не допускать подобных ошибок, – все обошлось бы. Вместо: «Вы, Сергей Васильевич, приглядывайте за Селезневым получше – молод еще, горяч, заносит куда не следует» Бондарев, как мы знаем, произнес иные слова.

В искусстве по сию пору действует старое правило: «Честность есть лучшая политика!» Если отбросить дипломатический политес, то без каких-то ссылок на Юру я должен отказать Юрию Васильевичу именно в честности. Зачем он так поступил? У меня на сегодняшний день только один ответ. Уж больно лихо Юра начал в первых замах. А что будет, если сделать, как думалось раньше, главным редактором? Советская система знала только один критерий при назначении – должен быть не просто лояльным, но прежде всего управляемым: никакой самостоятельности! (И не важно, в какой сфере назначение происходило, хоть в банно-прачечном тресте.)

Что касается писателя Бондарева, то, сделав литературную «карьеру», он уже тогда как мог начинал выстраивать свою политическую «карьеру». В политику редко входят, в нее врываются, не смущаясь наступать на чужие головы. Политикой еще реже занимаются, в нее играют. И игры эти отнюдь не детские, не зря почти что общепринято, что политика – грязное дело. Но смею заверить, более грязных дел, чем совершают писатели, играющие в политику, я не знаю. Прошедшие 20 лет подтверждают мое суждение.

А Бондарев? Что Бондарев, он осознал, что среди «левых» и «правых», среди «либералов», «марксистов» и «патриотов», среди «чистых» и «нечистых» Юра своим поведением как редактор и человек обозначил исключительно свою, селезневскую, позицию, явив литературному миру творческую независимость суждений и личностную смелость, какие обычно бывают вовсе не в чести и жестко порицаются, преследуются с разных сторон. Потому как большинство участников событий обычно исходит из твердой уверенности, что «свой среди чужих, чужой среди своих» хорош только в кино, но никак не в жизни. А уж в литературной жизни тем более «свой» должен быть стопроцентно «своим» по отношению к другим «своим».

Впрочем, можно сказать и немного иначе: Бондарев тогда вовсе не предавал Селезнева, он расчетливо убирал конкурента, соперника, он просто делал свой следующий шаг вверх по политической лестнице, ведущей вниз.

Так что напрасно сегодня Володя Бондаренко, пробуя поймать в кадр литературное мгновение, заявляет, будто «ныне, скажем, Юрий Бондарев кроме себя никого и знать не хочет». Он и раньше, по большому счету, кроме себя никого знать не хотел.

Что же касается Селезнева, то он вовсе не стремился «подставить» С. Викулова. Он лишь хотел сделать «Наш современник» иным, более смелым и делал это, как он это умел, быстро. Взял и сгруппировал в одном номере сразу и повесть В. Крупина «Сороковой день», и статью В. Кожина, и статью А. Ланщикова (по сути, главу из его готовящейся книги о Чернышевском в «Современнике»), и рецензию уже опального С. Семанова. Чересчур быстро, рассудили «товарищи». «Подставлять» С. Викулова – зачем? Ведь место главного редактора и без того было обещано. Забыл, что обещать не значит жениться.

И еще одно предположение. В содержании номера, в самом выборе повести Крупина, Бондарев мог разглядеть, что как редактор Селезнев готов отдать предпочтение более молодым прозаикам, т. е. слегка подвинуть в сторону примелькавшиеся имена занудного Н. Шундика, тяжеловесного М. Алексева и самого Ю. Бондарева, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственных премий, чьи «Последние залпы» в литературе как-то незаметно превратились в «Игру». А этого Юрию Васильевичу допустить, как понимаете, никак было нельзя.

А теперь совсем коротко на тему, для меня по сию пору очень туманную.

...Мы сидим у Селезнева дома на кухне. За окном ночная темень. Жена Марина на подносе в последний раз приносит кофе с какими-то печенюшками. Юра курит. Я терплю. Мы ведем разговор о только что состоявшейся его поездке в Ленинград. Вернее, говорит он, а я слушаю. Лишь иногда вклиниваясь вопросами. Юра рассказывает, как на обратном пути в Москву на него было совершено покушение. Кем? КГБ. Но там же, в КГБ, нашлись другие люди, которые помогли и спасли, они спрятали его в другом купе поезда, всю ночь охраняли и благополучно доставили до дома. Ничего другого не нахожу, как спросить: «И что теперь, страшно?» Юра провел рукой по своим темно-русым с ранней сединой волосам, и я услышал в ответ: «Не хочется *так* уходить из жизни. Еще, собственно, ничего не успел сделать...»

Кажется, это был единственный раз, когда в наших разговорах случилось прикосновение к теме смерти. Не чьей-то там, а непосредственно его смерти. Не знаю, приходили ли когда к нему мысли о ранней смерти. Как не знаю и сейчас, была ли его смерть преждевременной. И что было в конце концов первично: он жил с такой интенсивностью, работал на износ, полагая, предчувствуя, что отпущено ему лет совсем немного, или его жизнь оборвалась рано именно потому, что работал все эти годы не щадя себя?

Об «отношениях» Юры с органами мы вряд ли когда узнаем. Но они в ту пору были, мне кажется, у каждого входящего в литературу. Я даже не имею в виду прямое сотрудничество или стукачество. И речь не о постоянной телефонной прослушке. И не о письмах за рубеж и из-за рубежа, которые шли больше месяца, откровенно вскрывались, и часть корреспонденции куда-то исчезала. И не о собираемой информации: с кем из иностранцев когда, где и сколько раз ты встречался.

Помню, я какое-то время работал в Саратовском отделении Союза писателей. И как в любой области у нас был свой куратор из обкома партии и свой куратор из областного управления КГБ. Он приходил, задавал вопросы. Его интересовали даже члены литературного объединения при писательской организации, объединения, в котором добрая половина были графоманы. Но – кто ходит? О чем пишет? А есть ли кто из фантастов? А то собираются в Ленинском районе любители фантастики. И среди них много евреев. Сегодня обсуждают и пишут фантастику, а завтра возьмут и напишут заявление о выезде в Израиль. По молодости, по глупости я пошутил:

– Бойтесь, что, если уедут, у вас не будет работы?

– Вы о себе думайте, а не обо мне.

Позже я переехал в Москву. Жил, работал, писал, печатался. Встречаю как-то на улице знакомого, иногда в печати появлялись его рецензии и обзоры. В разговоре мелькает, что он

то ли работает, то ли подрабатывает консультантом-обозревателем в Комитете. Ну что ж, тоже работа. Когда прощались, слышу теплый, радушный голос:

– Пиши, пиши – мы за тобой наблюдаем.

... Те кухонные посиделки у Юры были незадолго до его последней поездки в Германию. Он тогда вошел в материал – перечитал нужное, сделал необходимые выписки и наброски – и готов был приступить к докторской по Лермонтову. Но обстоятельства жизни поставили перед ним вопрос, на который он дал ответ: защититься не дадут. Вместо диссертации после поездки в Германию он планировал начать работу над книгой о Лермонтове для «ЖЗЛ». Все было готово...

Из Германии он не приехал, а его доставили. Говорят – сердце. Может быть. Случается же стечение обстоятельств. Как это у Блока: «Нас всех подстерегает случай». Вот и на сей раз подстерег.

Иногда я подхожу дома к книжным полкам и беру в руки (просто так) ЖЗЛовского «Достоевского», открываю титульный лист и перечитываю: «Коллеге по вредному (т. е. критическому) цеху Александру Разумихину с благодарностью, дружески и сердечно. Юрий Селезнев. 10.XII.81.» Сознание воспринимает только одно: «по *вредному* цеху».

Насколько вредному? Последнюю прижизненную его книгу «Василий Белов» (1983) отделяют от первой «Вечное движение» (1976) только семь лет. Да и весь творческий путь Селезнева – от журнальной статьи «Зачем жеребенку колесики?» (1973), принесшей первую известность, до ранней смерти 16 июня 1984 года – составляет неполных одиннадцать лет.

Как скажет позже Валерий Ганичев, Селезнев был способен объединить. Окидывая взглядом сегодняшние писательские ряды, я бы сказал иначе: Юра, человек-магнит, если бы жил, оказался единственным способным объединить. Если бы...

А потому не дает покоя мысль: может, это и есть истинная причина его гибели?

Ал. Разумихин

І. Златая цепь

Глазами народа

С некоторых пор вошло у нас в обыкновение говорить о народности, требовать народности, жаловаться на отсутствие народности в произведениях литературы, но никто не думал определить, что понимает он под словом «народность».

А. С. Пушкин

1

Русская литература, это, по определению Ивана Александровича Гончарова, «выражение духа, ума, фантазии, знаний целой страны... язык, выражающий все, что страна думает, что желает, что знает и что хочет и должна знать», это всемирно-историческое явление пребывает в мире вот уже скоро тысячу лет.

Тысяча лет... Наша литература совсем юна по сравнению с древнеиндийской, египетской, древнегреческой, римской... Но вместе с тем она, по замечанию Д. С. Лихачева, и «одна из самых древних литератур Европы. Она древнее, чем литературы французская, английская, немецкая»¹. Ее начало возводят ко второй половине X века. При этом необходимо уточнить: речь идет именно о *литературе*, то есть осознанном искусстве художественного, письменного слова. Предшествующая же литературе русская *словесность*, под которой в данном случае разумею как любые виды устного творчества (мифы, легенды, сказки, былины, предания, песни), так и вероятные письменные записи договоров, законов, хроники исторических событий и т. п.², вне всякого сомнения, гораздо древнее литературы в собственном смысле слова. Во всяком случае, даже и те немногие сохранившиеся памятники литературы, которые мы относим к древнейшим, свидетельствуют о такой самобытности и такой развитости словесного искусства, которые не могут возникнуть вдруг, из ничего или путем заимствования традиций иной культуры.

Дело, однако, как мы понимаем, не в самих по себе «юности» и «древности» русской литературы, но в ее мировой значимости, в той почти беспримерной общественной роли (пожалуй, в какой-то мере эту роль можно сравнить лишь с литературами древнеиндийской и древнегреческой), которую она всегда играла в жизни нашего народа. «Обращаясь мыслью к тысячелетнему пути русской литературы, невольно поражаешься его удивительной значительности... – справедливо пишут советские исследователи. – Народ талантлив, особенно когда испытал трагическую судьбу, когда за его плечами многовековой опыт страданий и нравственных побед, когда эстетические искания сливаются с исканиями мировоззренческими, исканиями социального и национального идеала»³.

¹ Лихачев Д.С. Первые семьсот лет русской культуры. – В кн.: Изборник, 1969, С.5.

² Существует ряд исторических свидетельств о том, что создатель, а по другим версиям, усовершенствователь славянской азбуки Кирилл (отсюда и название ее – кириллица) и сам встречал книги, написанные более древними «русскими письменами». В еще более отдаленные времена славяне при «письме» обходились «при помощи черт и резов». К сожалению, единственное обстоятельное свидетельство о существовании дохристианской письменности и литературы – так называемая «Влесова летопись» (или «книга») – до сих пор так и не стало предметом серьезного научного обсуждения.

³ Дмитриев А.Л., Лихачев Д.С., Творогов О.В. Тысячелетие русской литературы. – Русская литература, 1979, № 1, с. 13. Ученые специально подчеркивают: «Отмечая в преддверии тысячелетия русской литературы ее высокие достоинства, мы вместе с тем с особым чувством осознаем, что праздник тысячелетия русской литературы будет в 80-х годах одновременно и

Вот об этом-то социальном и национальном идеале русской литературы, определившем природу ее своеобразия, то есть ее особость, отличительную от других, а вместе с тем и явившемся основой ее национально-общественной, а ныне и всемирной значимости, и хотелось бы поразмышлять в этой статье.

Всемирно-историческое значение нашей отечественной литературы – неоспоримо: в Европе она была воспринята как пророчество «о новом человеке и его рождении из лона русской души» (С. Цвейг), как источник новой силы, который «все сильнее и сильнее подчиняет своему влиянию нашу духовную жизнь» (А. Лютер), источник, «благодаря которому Европа сможет вновь обрести себя и воспрянуть духом» (А. Брук) и т. д.

Однако если спросить, каким словом можно определить этот источник новой силы, то подавляющее большинство как специалистов, так и любителей и у нас и на Западе назовет скорее всего слово – гуманизм. В таком определении действительно есть свой глубокий смысл: подлинная человечность русской литературы – качество всемирно признанное. И все же ситуация достаточно парадоксальна. В самом деле: мог ли гуманизм, вне всякого сомнения, органически присущий русской литературе, осознаваться на Западе как нечто новое, в то время как сама европейская культура, начиная с XIV–XVI веков, с эпохи Ренессанса, существовала именно в лоне гуманизма? А с другой стороны, широко известно, что как раз в связи с творческим мироотношением многих русских писателей то и дело возникают определения как будто прямо противоположные понятию «гуманизм».

Так за Достоевским надолго закрепилось было определение «жестокий талант». Художественный метод Л. Толстого и сегодня называют «суровым реализмом». Немало говорено о «жесточкой последовательности» Горького-писателя (об этом напомнил в своих воспоминаниях о нем К. Федин). Пришвин записал в дневник: «Вспомнилось, как меня называли «бесчеловечным писателем». Пытаясь определить сущность таланта Шолохова, прибегают к такого рода категориям, как «свирепый реализм» (Э. Гринвуд) и т. д. и т. п.

Конечно, каждую из этих характеристик можно было бы отнести на счет концептуальной «непродуманности» оценок, а то и прямого «непонимания» творчества писателей-классиков, но все вместе эти примеры (а их можно умножить) все-таки создают атмосферу неслучайности, даже, напротив, определенной закономерности, которая, казалось бы, в корне противоречит тому гуманистическому идеалу, который в русском национальном самосознании осмысливается как *человечность, человеколюбие*:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал...

Действительно, русская литература подвижнически человечна. Но не отсюда ли и ее «беспощадность»? Ведь подвижничество требует не только любви к человеку, но и высокой требовательности к нему, именно беспощадности к его недостаткам. Как бы то ни было, но идеал «незлобивого поэта», пользующегося «сочувствием в толпе», которого «не гонят, не злословят. И современники ему при жизни памятник готовят» (Некрасов), – такой идеал, кажется, никогда не привлекал великих подвижников русского слова, всегда предпочитавших «памятнику при жизни» суровую правду, даже если такая правда оборачивается для писателя-пророка трагическим непониманием, обвинением в жестокости. Вспомним: «Провозглашать я стал любви И правды чистые ученья, – В меня все ближние мои Бросали бешено камня» (Лермонтов); «Но вещей правдою звучат Уста, запекшиеся кровью» (Блок) и т. и.

Все так. И однако же вправе ли мы утверждать, будто гуманизм и определил природу своеобразия именно русской литературы? Всякое творческое созидание от древнейших времен и до наших дней – по природе своей человечно и в этом смысле, конечно, гуманистично и иным быть не может: человеконенавистничество никогда не было и не способно быть основанием созидания, но всегда лишь разрушения, как бы ни пыталось оно выдать себя за творчество. Потому-то мы с одинаковым правом говорим и о гуманизме Шекспира и Сервантеса, писателей XVI века, и о гуманизме Дидро и Руссо, представителей французского Просвещения XVIII века, называем гуманистами крупнейших писателей России и Европы как XIX, так и XX веков...

Очевидно, гуманизм, в современном звучании этого слова, – понятие чрезвычайно широкое, настолько широкое, что под него вполне подпадают явления, относящиеся к разным историческим эпохам, культурным традициям, идейным, эстетическим и прочим лагерям. Уже по одной только этой причине вряд ли плодотворно искать в гуманизме отличительную особенность, новое слово именно русской литературы.

Есть, однако, и другая сторона проблемы: гуманизм, в точном смысле этого понятия, как известно, характеризует сознание, сформировавшееся в Европе в эпоху Ренессанса, или европейского Возрождения. Эпоха Ренессанса и гуманизм как ее самосознание действительно определили во многом лицо европейской и даже мировой культуры, и в частности литературы. Определили глубоко и надолго. Вполне понятен поэтому неслучайный интерес исследователей русской литературы к ренессансному гуманизму: не он ли явился той мировоззренческой энергией, которая позволила и нашей отечественной культуре пережить в XIX веке свою классическую эпоху величайшего расцвета, которую по масштабам и всемирной значимости действительно можно сравнить разве что с европейским Ренессансом, а во многом, может быть, и аналогичную ему? Хотя, естественно, и проявившую себя в новых формах, соответствующих содержанию иной исторической эпохи и иной культурной традиции?..

Этот вопрос будоражит сознание исследователей еще и потому, что, по широко признанному мнению, наша отечественная литература последовательно переживала этапы развития, соответствующие общеевропейским: литература Средневековья (нередко именуемая у нас «древнерусской»), предренессанс, барокко, классицизм, просвещение, сентиментализм, романтизм и, наконец, критический реализм XIX века. Но, как видим, в истории русской литературы и культуры в целом не находится места единственному этапу – эпохе Ренессанса, или Возрождения. Общепринято считать, что в то время, как европейская культура пережила Ренессанс (XIV–XVI вв.) и вступила в эру Нового периода своего развития, русская литература, в силу известных причин (монгольское иго, задачи национального освобождения, создание, по существу, нового государства и т. п.), вплоть до XVIII века остается в рамках средневековья, но зато после «прорубленного» Петром Первым окна в Европу она, минуя эпоху Ренессанса, тут же включается в общеевропейский ход развития культуры и за столетие (скажем, с 30-х годов XVIII по 30-е годы XIX века) ускоренно проходит европейскую школу – от классицизма (Ломоносов) до критического реализма (Пушкин, Гоголь – и затем до Чехова и раннего М. Горького).

Этот устоявшийся взгляд был подвергнут в последние годы основательному пересмотру. Так, В. Кожин пришел к выводу, что эпоху с конца XVII до начала XIX века, от Феофана Прокоповича до Пушкина, вполне можно определить как «время перехода от средневековья к Новой литературе», то есть как время, которому в Европе соответствует эпоха Ренессанса. Нигде не утверждая тождественности этих процессов на Западе и в России, исследователь настаивал лишь на том, что русская литература должна была решить задачи перехода от средневековья к Новому времени и решила их в таких формах, которые в главных чертах соответствуют западному Ренессансу, поскольку эпоха Возрождения была «таким необходимым корнем Новой литературы или, скорее, таким могучим стволом, на котором уже смогли вырасти

ветви всех последующих литературных направлений». Думается, что вопрос о русском Возрождении, поставленный именно так, то есть как о литературной и – шире – культурной эпохе, осуществлявшей в России *переход* от Средневековья к Новому времени, не мог в конце концов (пусть и с разными оговорками, вариантами и т. д.) не завоевать более или менее широкого признания. Действительно, основной момент спора ни у кого из его участников, по существу, не вызывал сомнений, ибо факт остается фактом, и к тому же неоспоримым: *переход* от Средневековья к литературе Нового времени в России был совершен.

Итак, парадоксальная ситуация: с одной стороны – Россия *должна была* решить задачи европейского Ренессанса и *решила* их, – к этому склоняется большинство спорящих. Некоторые даже готовы эту эпоху условно назвать русским Возрождением. С другой – они же в один голос, приводя самые разные доводы, отказываются признать эту эпоху русским Ренессансом в собственном смысле этого слова.

В чем же дело? Неужто не все равно, как назвать, коли в главных типологических чертах переход от Средневековья к Новой литературе в России был совершен? И не лучше ли, действительно, остановиться на термине «русский Ренессанс», если именно такое название имеет эпоха аналогичного перехода в Европе?

Дело, конечно, не в названии, а в том, что мы понимаем под Возрождением? Эпоху расцвета культуры? Действительно, Европа периода Ренессанса дала такие фигуры, как Данте, Петрарка, Боккаччо, Рабле, Сервантес, Шекспир, не говоря о ряде титанов науки, государственной деятельности и т. д., – а что же произвело так называемое «Возрождение» в России? Нужно признать, немало: Аввакум – этот своеобразный русский Данте, фигура которого стоит «на пороге», венчая собой Средневековье и вместе с тем предвещая Новое время; Петр I; Татищев, Ломоносов, Державин, Болотов и – как вершины эпохи перехода к классической литературе – Карамзин, ранние Пушкин и Гоголь... Не так уж и мало поистине первоначальных, не только в отечественном, но даже и в мировом масштабе величин, чья деятельность надолго опередила свою эпоху: значение Болотова, скажем, мы только в наши дни стали осознавать, хотя до полного осознания еще и сейчас не близко. «Свой праздник Возрождения» (М. Бахтин) недалек и для Татищева, Державина, Аввакума, который во многом повлиял на творчество Достоевского, Толстого, Лескова, да и для многих других.

Попробуем разобраться в главном вопросе: какое же именно сознание выработала эпоха европейского Ренессанса? Ответ не нуждается в каких-либо дополнительных обоснованиях, поскольку он общепризнан и никем, во всяком случае до сих пор, не оспорен: гуманизм. Не человечность в широком плане, как мы обычно переводим это понятие, но – гуманизм в собственном смысле слова. Что это значит?

2

Один из современных исследователей проблемы справедливо напоминает: «...гуманизм... – фокус ренессансного типа культуры». Речь идет, подчеркивает исследователь, «не об интересе к человеку» и не о «возвышенной ценности человеческой личности» – в таком общем виде «гуманизм» действительно встречается в той или иной форме в разные времена и в разных цивилизациях, и его понятие становится надисторическим (а точнее – принадлежит нашему современному словарю). Мы будем обозначать словом «гуманизм» совершенно конкретное и неповторимое западноевропейское духовное явление XIV–XVI вв...» (Л.М. Баткин).

В самом деле, вправе ли мы назвать искусство, культуру, сознание, скажем, античности или даже Средних веков – бесчеловечным или античеловечным? Конечно же нет. Но сознание и античного, и средневекового человека не было гуманистичным в точном смысле: не человек, но рок, «веление богов» определяли лицо мира. Вспомним: даже величайший герой античности – Ахилл наделен своими героическими качествами не по природе, но по «милости олим-

пейцев». Его судьба – «ахиллесова пята» – опять же запрограммирована ими. Врагов своих побеждает он не столько своим личным мужеством, воинским умением (хотя ему в этом вовсе не отказано, напротив), сколько с помощью незримо охраняющей его Афины. Герой здесь – не личностен, он – «избранник богов», «любимец рока». И средневековый человек мог быть кем угодно и каким угодно, мог быть наделен любыми качествами и все-таки при этом всегда оставался именно как человек «сосудом» – либо божественной мудрости, либо дьявольских наущений. И судили-то его и казнили, как правило, не за личные преступления и даже как бы не его лично, но в его лице – дьявола, если такового не удавалось «изгнать».

Я этим вовсе не хочу подчеркнуть «примитивность», «мракобесие» и т. и. сознания античного и средневекового человека, сознания, воплощенного в бессмертные шедевры слова, ваяния, живописи, зодчества, созданные отнюдь не вопреки соответствующему мироотношению, как это нередко толкуется, но именно благодаря ему и именно в соответствии с ним. Речь о другом: сознание эпохи Ренессанса – качественно отлично от античности и Средневековья. Человек впервые – и не в лице отдельных мыслителей (что бывало и в античную эпоху, и в Средние века) – поставил себя в центр мироздания, осознал себя его венцом и целью.

Как пишет один из серьезнейших исследователей вопроса академик А. Лосев, «в эпоху Возрождения именно человеческая личность берет на себя божественные функции...». Итак, во-первых: гуманистическое сознание – по природе своей *антропо (человеко) – центрично*: не Бог, не Судьба (или Рок) и т. д., но человек – центр гуманистического космоса, он – цель всего творения, все остальное – средство. Такой, поистине революционный, переворот в сознании, освобождавший колоссальную энергию личности, и стал той почвой, которая породила «титанов Возрождения». Во-вторых, это сознание *индивидуалистично*. «Гуманизм, – пишет А. Лосев, – есть учение о правах свободного индивида», как бы независимого от общества и даже противопоставляющего себя ему: я и общество, я и государство, я и народ, я и Вселенная и т. д., где центр и определяющая величина – собственное Я.

Нужно сказать, что творцы русской литературы прекрасно сознавали это определяющее начало классического гуманизма; достаточно вспомнить хотя бы следующее высказывание А. Блока: «...основной и изначальный признак гуманизма – *индивидуализм*».

И, в-третьих, это сознание – *буржуазно*.

Как писал К. Маркс, исторически прогрессивный переворот эпохи Ренессанса прямо связан с самосознанием тогда еще передового и «только что народившегося мира буржуазии»⁴ ⁵. «Гуманистический индивидуализм как принцип жизни выработан... идеологами первой *капиталистической*¹ нации и подсказан потребностями становления буржуазного общества» (Краткая литературная энциклопедия). Система гуманизма «опиралась на индивидуалистическую концепцию личности» (Большая Советская Энциклопедия), нравственная основа гуманизма – «индивидуализм» и «разумный эгоизм» (Философская энциклопедия). Конечно: «Люди, основавшие современное господство буржуазии, были всем, чем угодно, но только не людьми буржуазно ограниченными»⁶. Однако уже и в ту эпоху, связанную с «первоначальным накопительством», колониальными завоеваниями, давали знать о себе и теории «сильного человека», которому все позволено во имя достижения цели (Макиавелли, «Мандрагора»); и идеи о том, что великие деяния возможны лишь при условии превосходства воли сильной личности над волей большинства (гуманист XV века Поджо Браччолини); и учения о власти денег и силе власти как определяющих двигателях личности (Гваччардини)...

Эпоха Возрождения нередко рисуется нам в исключительно возвышенных тонах, как время небывалого расцвета искусств, наук, раскрепощения человеческой личности в целом.

⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве, т. 2. М., 1957, с. 482.

⁵ Курсив везде мой, кроме специально оговоренных случаев.

⁶ Энгельс Ф. Диалектика природы. М., 1955, с. 4.

Однако та же самая энергия, которая породила действительно высокие образцы творчества, одновременно раскрепостила и иные проявления «свободных» человеческих страстей: «В эпоху Ренессанса гадали на трупах... Возрождение прославилось своими бытовыми типами коварства, вероломства, убийства из-за угла, невероятной мстительности и жестокости, авантюризма и всякого разгула страстей... Широкое распространение получает порнографическая литература и живопись... Гуманисты непрерывно соперничали и боролись друг с другом, их полемика пересыпана невероятными оскорблениями и обвинениями. Внутренние раздоры и борьба партий... не прекращавшаяся всю эпоху Возрождения и выдвигавшая сильных личностей, которые утверждали в той или иной форме свою неограниченную власть, отличались беспощадной жестокостью и какой-то неистовой яростью... На все века прославилось своими преступлениями семейство Борджиа, глава которого, папа Александр VI Борджиа, соединял честолюбие, корыстолюбие и развращенность с блестящими дарованиями и энергией... Но уже совсем абсолютным и каким-то сатанинским злодеем был сын папы Цезарь Борджиа... Едва ли все это, весь этот безграничный разгул страстей, пороков и преступлений, можно целиком отрывать от стихийного индивидуализма и от прославленного титанизма всего Ренессанса». И все-таки даже не это еще самое главное: грешили, совершали преступления во все времена, но... «Но там люди грешили против своей совести и после совершения греха каялись в нем. В эпоху Ренессанса наступали другие времена. Люди совершали самые дикие преступления и ни в коей мере в них не каялись, и поступали они так потому, что последним критерием для человеческого поведения считалась тогда сама же изолированно чувствующая себя личность» (Лосев А. Эстетика Возрождения).

В известном смысле именно такое сознание, прошедшее путь от гуманистического кредо титанов Возрождения: «человек есть мера всех вещей» до самообожествления собственного Я: «я есть мера всех вещей» – в той или иной степени остается и до наших дней самосознанием буржуазного человека, мерилом всех его ценностей, его *идеалом*.

Итак, гуманизм (без каких-либо существенных уточнений) – это воплощение идеи человечности? Очевидно, нет: гуманизм, в строгом смысле слова, – лишь одна из исторических форм человечности, но человечность не обязательно по своей природе гуманистична. Гуманизм и человечность (или то, что мы называем гуманностью) в этом смысле отнюдь не синонимы.

Отдельные элементы классического гуманизма в нашем сегодняшнем сознании не всегда безобидны. Не вдумываясь порой даже в сущность многих наших привычных определений, мы с гордостью заявляем, например: «Человек – *покоритель* природы», «*взять* у природы», «*вторгнуться* в святая святых природы», «*овладеть* богатствами природы» и т. д. и т. п. А между тем уже в самой такой лексике, применимой, кстати, лишь по отношению к противнику, врагу, нетрудно увидеть небезобидные издержки буржуазного сознания, утвердившегося гуманизмом Ренессанса, провозгласившего человека – целью, а все остальное – средством его благополучного существования.

Буржуазный гуманизм, в конечном и прямом смысле этого понятия, – общечеловеческий эгоизм, разделяющий мир на две неравноценные половины: на цель (мир человека) и на средство (мир природы, взятой как целое).

Еще раз необходимо напомнить: на определенной ступени социально-исторического и духовного развития такое мироотношение было в целом явлением необходимым и прогрессивным.

В своем труде «Проблемы поэтики Достоевского» М.М. Бахтин на основе учения выдающегося отечественного ученого-мыслителя А.А. Ухтомского разработал теорию диалога как одной из наиболее фундаментальных категорий бытия. Любые формы жизни могут проявить себя только в диалоге, то есть в том или ином качестве взаимоотношений: человек – человек, человек – общество, человек – природа и т. д.

«Все – средство, диалог – цель. Один голос ничего не кончает и ничего не разрешает. Два голоса – минимум жизни, *минимум бытия*», – пишет ученый.

Диалог, как форма принципиального отношения к миру, предполагает наличие второго, равноценного, с которым только и возможен сам диалог.

Диалогические отношения – не только внутрочеловеческие (способность и необходимость видеть мир не только своими глазами, но и глазами этого другого, равноценного сознания), но и отношения человечества с «природой, взятой как целое».

Неравновесие сил в диалоге «человек – природа», а вместе с тем растущие возможности человека в овладении природой – все более приводили к нарушению их диалога, приобретая формы *монологические*. Как когда-то природа единолично диктовала человеку, который был в известном смысле ее «рабом», так теперь человек получал возможность диктовать свои условия природе, не считаясь с ее «голосом», как бы не принимая его в расчет, во всяком случае, как равноценный своему, в этом диалоге.

Гуманистическое мироотношение в этом смысле есть форма принципиально монологического, по сути своей – эгоистического сознания («Я – цель, все остальное – средство»). Естественно, что такой монологизм (индивидуализм) сознания проявляет себя отнюдь не только в отношении «человек (человечество) – природа», но и во всех возможных противопоставлениях одного – всему остальному: индивидуалистической личности – государству, народу, нации; одного народа, провозглашающего себя «избранным», – всем остальным народам мира; одного «избранного» класса (буржуазии) – другим, трудящимся, классам и т. д.

Кризис классического, буржуазного по сути, гуманизма, разделявшего людей на «я» и всех остальных, нес причину и оружие саморазложения, что ярко проявилось в теории Макса Штирнера. Его апология «Единственного» (Штирнер Макс. Единственный и его достоинство) – это логическое завершение в новых условиях эгоцентрической формулы «человек («цель создания») есть мера всех вещей» в формулу «я – цель создания и я же – мера всех вещей»...

Другой вывод, прямо исходящий из той же эгоцентрической системы гуманизма (и вместе с тем его отрицающий), – идея Ницше о сверхчеловеке, с его нравственно-философской формулой: «по ту сторону добра и зла»...

Наиболее трагические формы этого кризиса вызвали к «жизни» сознание фашизма и реваншизма, колониализма и неоколониализма, сионизма... Кризис гуманизма, как видим, приводит буржуазное сознание к внешне различным, но единым по существу формам антигуманистического сознания – в основе своей опять-таки эгоцентрического, не гнушающегося никакими средствами для самоутверждения, враждебного как иным формам человеческого сознания, так и миру в целом.

Не стану напоминать многочисленные призывы ученых (отечественных и зарубежных) хотя бы к новому, творчески доверительному отношению к природе (а в основе такого отношения лежит, как мы в конечном счете понимаем, и принцип всех иных отношений: личности к обществу, народа к другим народам и т. д.). Призывы, продиктованные тревогой за нарушение равновесия сил в этой «борьбе», тревогой в конечном счете за самого человека.

«Не соперничество, а сотворчество» – так можно охарактеризовать суть многих и многих из этих призывов. Такое название носит и статья Вадима Кожинова, к которой мы уже обращались. Статья эта посвящена мироотношению Михаила Пришвина.

«В творчестве писателя совершился исключительно важный, всемирно-исторический... перелом в художественном видении самого соотношения человека и природы, – справедливо пишет Кожинов. – Пришвин утверждает всем своим творчеством, что борьба с природой и господство над ней – это цель человека, еще не достигшего зрелости, «взрослости», точно так же, как и подчинение природе, признание ее безусловного господства...»

Пришвин, делает вывод автор статьи, и утверждает новое мироотношение, а именно необходимость *сотворчества* с природой.

И, наконец, процитируем то место статьи, которое имеет самое прямое отношение к нашему разговору: «Пришвин, в сущности, выступил против такого «традиционного» гуманизма, который, утвердив тезис о том, что человек не может быть средством для чего-либо, в то время как бы изолировал человека от мира, вырывая тем самым почву из-под его ног. Пришвин, в частности, показал и доказал художественно, что природа, взятая в ее целом, также не может быть средством для чего-либо, в том числе и для человека; последовательное превращение природы в «средство» ведет к гибели самого человека».

Односторонняя («монологическая») деятельность человека по отношению ко всей остальной «природе», взятой в ее целом, начинает угрожать существованию самого человека. Не случайно кризис такого сознания нашел свое отношение в творчестве Пришвина – писателя, стоявшего в преддверии эры научно-технической революции, вооружившей человека средствами «беспредельного» господства над природой.

Размышляя о сущности художественного сознания, которое лежит в основе «Тихого Дона» Михаила Шолохова, Петр Палиевский приходит к выводу, что и это сознание не вмещается в рамки гуманизма в его традиционном понимании. Но речь идет уже не об отношении «человек-природа», а о внутрочеловеческих отношениях: личность – коллектив, человек – и такие бытийные понятия, как жизнь, смерть и т. д. Если смотреть на эти отношения с точки зрения классической литературы, то может показаться, пишет П. Палиевский, что они противоречат «всем гуманным целям, как мы их привыкли понимать».

Мир Шолохова – это мир, увиденный не глазами кого-либо из героев, и даже не «совокупностью» этих героев: «Кажется, что это сама жизнь, сумевшая мощно о себе заявить...».

И особенный мир Пришвина, и особый мир Шолохова все же имеют одно общее, определяющее начало. В основе художественного сознания, и, следовательно, художественного воплощения мира, и того и другого писателя лежит «точка зрения народа как целого».

Но мир Пришвина – это мир, увиденный личностью, сумевшей как бы слить себя с целым народом; мир Шолохова – это и есть мир самого народа: «Здесь впервые вышел в определяющее лицо народ и получил голос» (П.Палиевский).

«Кризис гуманизма» с наибольшей определенностью, хоть и по-разному отразившийся в творчестве Шолохова и Пришвина, был (сознательным или бессознательным) отражением объективного развития сознания человечества, и в первую очередь нашего народа, прошедшего через всемирно-исторические катаклизмы XX века: мировую войну, Октябрьскую революцию, Гражданскую и Великую Отечественную войны.

Нет необходимости говорить, что выводы из того же кризиса гуманизма, которые нашли отражение в творчестве Шолохова и Пришвина (не только у них, конечно, но у них наиболее выразительно, оттого мы и называем сейчас только их имена), *прямо противоположны* антигуманистическим формам современного «западного» сознания.

3

Мироотношение и Шолохова, и Пришвина было определено не только условиями новой эпохи, но вместе с тем было подготовлено и опытом отечественной устной словесности и русской классической литературы XIX века, сознание которой, хочу повторить, никогда не вмещалось в рамки гуманизма.

Гуманизм входил в ее целостное отношение к миру как одна из важнейших, взаимообусловленных сторон этой целостности. Да, ее мироотношение всегда было истинно человеческим. Но это сознание в то же время было и враждебно эгоистическому, как мы видели, по своей сути утверждению самоценности человека вообще и индивиду, противопоставляющему свое

Я миру. Наиболее остро, всемирно-исторически трагедия сознания человека как «меры всех вещей», всех ценностей, сознания, доведенного до крайности («Я мера всех вещей», а потому и «все позволено»), – «пророчески» предстала перед человечеством в романах-трагедиях Достоевского (вспомним хотя бы трагедии Раскольникова и Ивана Карамазова).

Достоевский не смотрел на мир исключительно глазами своих героев. Человек-индивидуум у Достоевского – отнюдь не «мера всех вещей», но лишь одна из равноправных сторон диалога //человечества и //мира как Целого.

Диалогическое сознание сформировалось вполне у писателя-мыслителя, как мы знаем, после каторги, когда Достоевский принял за исходный принцип творчества мироотношение народа.

Именно идеалы русского народа, как их понял писатель, лежат в основе его идеологии, они же – и тот последний суд, которым судил он как реальных, так и литературных героев времени. И даже Пушкин для него – «наше пророчество и указание» прежде всего потому, что «никогда еще ни один русский писатель не соединился так духовно и родственно с народом.

И эта черта в Пушкине столь ярка, что ее нельзя не заметить и не отметить как главнейшую его особенность».

Видимо, не случайно отношение к миру таких разных художников (их имена, казалось бы, нельзя и поставить рядом), как Достоевский и Шолохов, получило в критике, по сути, одну и ту же определяющую оценку: Достоевский – «жестокий талант», у Шолохова – «свирепый реализм».

Очевидно, и «жестокий талант», и «свирепый реализм» – кажутся таковыми с точки зрения чисто гуманистической. Сознание же и Достоевского, и Шолохова не вмещается в рамки гуманизма.

Особый мир Шолохова не явился чем-то абсолютно неожиданным: шолоховское «начало» там же, где и «начало» Достоевского и всей русской литературы, в Пушкине. А пушкинское – в началах народного мироотношения, которое по ряду социально-исторических причин в целом своем *никогда* не было ни антропоцентрическим, ни индивидуалистическим, ни буржуазным.

Несомненно, что многих исследователей привлекает в природе ренессансности прежде всего жизненная полнота и масштабность ее лучших проявлений. Думается, не меньшие полноту и величественность представляют собой, к примеру, и многие создания античности и Средневековья, хотя они отнюдь не ренессансной природы. Как и в русской литературе, такими явлениями, как Пушкин, Достоевский, Толстой, она обязана отнюдь не ренессансному сознанию, но природе собственно русского художественного самосознания, которое – убежден – не нашло еще должного понимания и определения, но которое дало нашей культуре столь же мощный творческий импульс, что и европейский гуманизм – Ренессансу.

Конечно, ни древняя, ни средневековая Русь, ни Россия XVI–XVII веков при всей самобытности своего развития не могла быть полностью изолирована от влияния культуры Запада, пережившего эпоху Ренессанса, и вполне естественно, что идеи гуманизма, который, по точному замечанию одного из исследователей проблемы Р. Хлодковского, «приобрел характер общеевропейской идеологии», теми или иными путями и в самых разных, порою неожиданных формах проникали и на Русь, вовлекая ее в круг общеевропейских проблем. Большинство исследователей так или иначе разделяют такую точку зрения, видя, например, элементы гуманистического влияния и в разного рода религиозном инакомыслии, в еретическом, по сути дела, реформационном движении XV–XVI веков, которое, охватив городские слои молодого, формирующегося государства, приобщило культуру Руси к идеям общеевропейского гуманизма и рационализма.

Идеи каббалы, герметизма, астрологии, возрожденные Ренессансом, противостоящие христианской идеологии и ставшие заметным элементом инакомыслия, известны в России на протяжении всего периода вплоть до XVII века.

И уже в XVII веке в России происходят преобразования, явно свидетельствующие о складывании культуры гуманистического типа, еще достаточно прочно связанной с традициями предшествующего периода, но вместе с тем столь же явно напоминающей аналогичные явления европейского Ренессанса: в литературе появляется новый, «авантюрный» герой, герой-индивидуалист (повести: о Савве Грудцыне, о Фроле Скобееве, о Карпе Сутулове), ряд произведений раскрепощенно-ренессансного, карнавальнo-смехового типа.

И, наконец, XVII век выдвинул писателя мирового масштаба – Аввакума, вполне сопоставимого с такими первозначными для эпохи европейского Ренессанса фигурами, как Данте или Сервантес. Сегодня почти невозможно даже представить в полном объеме ту беспрецедентную мощь взрыва, произведенного энергией освобожденного индивида, которую принесла с собой эпоха Петровских преобразований. Гуманистически-ренессансное сознание в России XVIII века в ее культурно-официальных слоях получило не меньший, если не больший масштаб, нежели в Европе в эпоху Ренессанса. По определению Ленина, Россия уже с XVII века вступила в процесс формирования нации и развития таких национальных связей, которые были «не чем иным, как созданием связей буржуазных».

Преобразования же Петра, как общепризнано, активно включили официальную Россию в общеевропейскую жизнь.

В то же время наблюдается характерный и для европейского Ренессанса невиданный до того интерес к античной литературе, философии и истории. В конце XVIII – начале XIX века античность становится плотью и кровью русского искусства. Трудно назвать писателя того времени, который бы избежал этого влияния, потому что то была не мода, не поветрие, но естественный этап в поисках своего национального стиля.

Поэтому-то и представляется, что правы те исследователи, которые определяют эпоху с XVII по начало XIX века в России как эпоху ренессансную или, по крайней мере, как эпоху, породившую культуру ренессансного типа. И все-таки, думается, в этом вопросе остается пусть и единственное, но весьма существенное «но»: ренессансная эпоха в России не смогла выполнить одну чрезвычайно принципиальную задачу. Ренессансный гуманизм, определивший на Западе на столетия вперед общеевропейский *тип сознания*, со своими особенностями для каждой из стран, в России сумел охватить своим влиянием только «верхи» социальной иерархии и официальную культуру и литературу, но оказался не способен вовлечь в орбиту своего воздействия «низы» – народ, его самосознание, его культуру.

Это-то и дало возможность Пушкину заявить: «Великая эпоха возрождения не имела на нее (Россию. – Ю. С.) никакого влияния».

4

Пушкин, определивший в главном лицо новой русской культуры, вообще «не придавал решающего значения эпохе Возрождения в мировом литературном процессе...» (Р. Хлодковский), хотя Пушкина и нельзя упрекнуть в недооценке титанов европейского Ренессанса: слишком хорошо известно его отношение к Данте, Петрарке, Шекспиру. Но важно понять, *почему* он так полагал и что предлагал взамен. «России определено было высокое предназначение», – утверждал Пушкин. То есть более высокое, нежели Европе, давшей миру Ренессанс? Во всяком случае, самого себя поэт осознавал не венцом, не завершением, пусть и вершинным, предшествующей ему эпохи – созданную литературу он считал «ничтожной» не вообще, но по отношению к ее будущему, пророком и началом которого он себя осознавал и в действительности.

Именно основываясь на опыте Пушкина, его друг, мыслитель Чаадаев, недавно еще отрицавший мировую значимость самобытной русской культуры, счел возможным написать следующее (в 1847 году): «Нет такого современного или несовременного вопроса, которого бы мы не решили, и все это явится на свет дневной».

Но – до поры до времени – отрицал самобытность русской культуры предшествующего периода далеко не один только Чаадаев. Сам Пушкин – напомним – полагал литературу XVII–XVIII веков «ничтожной». Один из виднейших поэтов и критиков конца XVIII – самого начала XIX века Андрей Иванович Тургенев печаловался: «По крайней мере теперь нет никакой надежды, чтобы когда-нибудь процветала у нас истинно русская литература. Для сего нужно, чтобы мы и в обычаях, и в образах жизни, и в характере обратились к русской оригинальности, от которой мы удаляемся ежедневно». Но чрезвычайно существенно и следующее его замечание: «Теперь только в одних сказках и песнях находим мы остатки русской литературы... чувствуем еще характер нашего народа».

Белинский вступил на поприще идеолога новой русской литературы с утверждением: «В России еще нет литературы». Но почему? Да потому, отвечает он, что «у нас еще нет литературы как выражения духа и жизни народной, но она уже начинается». И вскоре он мог заявить: «В лице писателей натуральной школы русская литература пошла по пути истинному и настоящему, обратилась к самобытным источникам вдохновения и идеалов и через это сделалась и современной и русской». И, наконец, снова «загадочное»: «...наша литература представляет *совершенно особое* явление»; «ее история... не похожа на историю никакой другой литературы. И потому она представляет собою зрелище единственное, исключительное, которое тотчас делается странным, непонятым, почти бессмысленным, как скоро на нее будут смотреть как на всякую другую европейскую литературу».

Не в прошлом (эпоха Ренессанса), а в будущем видели русские мыслители культурное предназначение России, не в родственности русской литературы европейскому Ренессансу, но в выработке своих оснований; не в воспроизведении форм классического гуманизма, хотя бы и на более высоком уровне, но – в преодолении их виделся им путь русской литературы. Отсюда и уничижительные оценки, и даже прямое отрицание русской, а по сути западно-ренессансной, культуры предшествующего периода, которая осознавалась теперь как нечто чуждое, наносное, «ничтожное» и в конечном счете – как отсутствие истинно национальной культуры; ибо творческое чутье русских писателей-мыслителей (поэтов, прозаиков, критиков) уже улавливало иное начало, которое, по слову Гоголя, «пророчило для нашей поэзии какое-то *другим народам неведомое* своеобразное и самобытное развитие... Другие дела наступают для поэзии... Как во времена младенчества народов служила она тому, чтобы вызывать на битву народы... так придется ей теперь вызывать на другую, высшую битву человека – на битву уже не за временную нашу свободу, права и привилегии, но за нашу душу... Много предстоит теперь для поэзии – возвращать в общество то, что есть истинно прекрасного и что изгнано из него нынешнею бессмысленной жизнью». Что же считает Гоголь необходимым вернуть в литературу, чтобы она стала способной выиграть «высшую битву... за нашу душу»? «Нет, – продолжает он, – не напомним они (поэты, писатели. – Ю. С.) уже никого из наших прежних поэтов. Самая речь их будет другая: она будет ближе и родственнее нашей русской душе: еще в ней слышнее выступят наши народные начала».

Итак, основания, которые должны были определить природу русской литературы как «совершенно особого явления» общемировой исторической значимости, – «наши народные начала»?

5

Именно так: возможность «подняться над Ренессансом... Пушкин видел... прежде всего в органическом развитии *собственно народных начал* русской поэзии, русской культуры и русской истории» (Р. Хлодковский). Очень точное и важное, хотя нельзя сказать, чтобы неожиданное, скорее уж – стертное и потому часто забываемое напоминание, в которое, однако, стоит вдуматься не бегло: не отказ от европейского (как, впрочем, и любого другого) опыта развития культуры и обращение к опыту собственного народа – не это главное у Пушкина. Но – развитие собственно народных начал. Очевидно, Пушкин полагал, что предшествующие эпохи культурного развития человечества основывались на иных, не собственно народных началах, а лишь использовали их в тех или иных формах. Вспомним и заветнейшие мысли Достоевского из его пророческой речи о Пушкине: «Пушкин явился великим народным писателем, как до него *никогда и никто...* И никогда еще ни один русский писатель... не соединялся так задуще и родственно с народом своим, как Пушкин... В Пушкине... есть именно что-то сроднившееся с народом *взаправду...*» И – «все эти сокровища искусства и художественного прозрения оставлены нашим великим поэтом как бы в виде указания для будущих, грядущих за ним...» Пушкинское, *небывалое* до него основание отечественной культуры – *народность*. На этом основании и выростала новая русская литература – как бы воплощенное преодоление буржуазного гуманизма народностью. Преодоление не только теоретическое, но и художественно воплощенное.

Обратимся еще раз к Пушкинской речи Достоевского. Уже в первых поэмах Пушкина, сказал он, «выразились чрезвычайная самостоятельность его гения» и все «глубины самосознания... совершенно русская мысль». И Достоевский, как мы помним, выявляет природу этой совершенно русской, пушкинской мысли в споре двух начал, двух самосознаний; одно из них олицетворяет Алеко (и затем Онегин, ибо «это все тот же русский человек, только в разное время явившийся»), второе – Татьяна. Что же это за начала? Первое – это самосознание человека, который «зародился... после великой петровской реформы, в нашем интеллигентном обществе, *оторванном от народа*». По существу это сознание в основе своей буржуазно-гуманистическое – в его итоге, в его кризисе, когда изначальное, гуманистическое сознание, давшее миру «титанов Возрождения», давно уже переродилось в кредо эгоцентризма. (Вспомним: «Оставь нас, гордый человек... Ты *для себя* лишь хочешь воли...») Второе начало – Татьяна, в которой «воплощено соприкосновение с родиной, с родным народом, с его святынею («Татьяна, русская душою»), И это – главное, потому что тут целое основание, тут нечто незыблемое и неразрушимое». И это основание Пушкин нашел «в народе русском», в народности. Противоборство двух этих начал, двух самосознаний пронизывает все творчество Пушкина: вспомним хотя бы конфликт Петра и стихии (народной, как это ныне доказано исследователями) в «Медном всаднике». Нет, природа пушкинского реализма, в том числе и пушкинской гармонии и полноты, – отнюдь не ренессансна. Ренессансность, как и романтизм и критический реализм, – составные того целого, которое мы называем пушкинским началом. Я бы сказал так: Пушкин вмещает в себя и Ренессанс, но сам в него – не вмещается.

Преодоление буржуазного эгоцентрического гуманизма *народностью как типом русского самосознания* — вот что является нам лицом *целого* русской литературы XIX века, вот что типологически характеризует природу творчества каждого из ее великих создателей, как бы ни разнились их индивидуальные идеологические, эстетические и даже политические взгляды.

В «Герое нашего времени» и в «Демоне», – писал А.А. Ухтомский, – «Лермонтов поставил... критический вопрос *о значении всей индивидуалистической культуры прославленной Европы, в которой люди сатанеют от одиночества в себе, от безвыходной замкнутости...*

от неумения выйти из самодовольных и самоуспокоенных теорий о мире и людях к самому миру и самим людям» (выделено А. Ухтомским. – Ю. С.).

То, что было понято нашим великим ученым-естественником, к сожалению, и до сих пор еще не оценено должным образом литературной наукой и критикой. Конфликт буржуазного сознания «наполеона» Чичикова и стихии русской народности – «птицы-тройки» у Гоголя; «наполеона»-Раскольников и народной правды у Достоевского; Европы и России в «Войне и мире» Льва Толстого; стихии Запада и России в «Былом и думах» Герцена и т. д. и т. и. Этот центральный конфликт так или иначе характеризует творчество и Лермонтова, и Тютчева, и Некрасова, и Чернышевского, и Салтыкова-Щедрина, и Чехова... И в творчестве М. Горького (вспомним хотя бы два начала, заключенные в его Данко и Ларре) перед нами все те же варианты противоборства двух основных и в то время типов сознания.

Вся русская литература – воплощенное отрицание буржуазного сознания и утверждение народности. «Возьмите нашу литературу со стороны богатства и разнообразия типа писателя, – размышлял М. Горький, – где и когда работали в одно и то же время такие несоединимые, столь чуждые один другому таланты, как Помяловский и Лесков, Слепцов и Достоевский, Гл. Успенский и Короленко, Щедрин и Тютчев? Продолжайте эти параллели, и вас поразит разность лиц, приемов творчества, линии мысли, богатство языка. В России каждый писатель был воистину и резко индивидуален, но всех объединяло одно упорное стремление – понять, почувствовать, догадаться о будущем страны, о судьбе ее народа, об ее роли на земле» (Горький М. Разрушение личности). Помнить-то мы помним об этом, знать – знаем и цитировать – цитируем, но, как мне представляется, далеко еще не осознаем всемирно-исторического значения того «коперниковского переворота» в области человеческого сознания, мироотношения, который совершился в русской литературе XIX века.

6

В разное время разными теоретиками и практиками по-разному понималось это слово – народность. Народность виделась и в обращении литературы и культуры к народным традициям, к воспроизведению форм и средств народного творчества, к использованию песен, сказок, легенд и т. д. Такое понимание рождало произведения, которые можно отнести либо к категории этнографической, либо – идеализированной, романтической народности. Толковалась народность и в смысле необходимости писать применительно к уровню народного разума, специально «для народа», а по сути – «под народ», так, чтобы ему-де было понятно (просветительская народность). Непременно выводить в своих произведениях героев – «представителей народа», с их особым складом ума, характера, речи и т. д.; писать о народе, его нуждах, потребностях, тяжелом положении (социологическая народность). Показывать, что «представители народа» – «тоже люди», «наши братья»; пробуждать и в самом народе «чувства добрые» и т. д. (гуманистическая народность.) Выявлять духовно-нравственные основы народного мироотношения и утверждать их как общенациональную или даже общечеловеческую ценность (культурно-нравственная народность) и т. д.

Очевидно, такого рода формы народности в отдельности или в тех или иных сочетаниях характерны как для русской литературы, так и для любой другой. Но и столь же очевидно, что ни каждая сама по себе из этих форм, ни даже их совокупность не способны определить особость того мироотношения, которое воплощено в русской литературе.

И вот здесь уместно, кажется, вспомнить слова Гоголя, кстати, послужившие и Белинскому отправной точкой развития его идеи народности: Пушкин «при самом начале своем уже был национален, потому что истинная национальность состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа. Поэт даже может быть и тогда национален, когда описывает совер-

шенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии, *глазами* всего народа...».

В том-то и заключается национальное своеобразие русской литературы, что *все* ее великие представители и творцы видели свою высшую заслугу и миссию не в том, чтобы выразить свое личное *Я*, и не в том, чтобы представить свое слово за народный взгляд, но в том, чтобы действительно воплотить в своем слове общенародные чаяния, идеалы, устремления. Не случайно же и сам Пушкин называл себя «эхом русского народа». Не гуманистическое *Я* индивида определяет здесь всю иерархию ценностей, но общенародные представления, нашедшие свое высшее выражение через творческое личности, способной видеть мир и все в мире «глазами всего народа», а следовательно, и быть его же «устами». Достоевский видел в Пушкине «пророка и провозвестника» именно потому, что «он, аристократ, сумел возвыситься над своей средой и с точки зрения народного духа ее великим судом судил». Думается, будет уместно вспомнить и ленинскую оценку другого «аристократа» – графа Льва Толстого: «Толстой велик, как выразитель тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов русского крестьянства ко времени наступления буржуазной революции в России». И – «его устами говорила вся... многомиллионная масса русского народа...».

В той или иной мере «многомиллионная масса русского народа» говорила устами всех великих русских писателей, устами самой русской литературы. А между тем, по справедливому замечанию Добролюбова, «возвыситься над мелкими интересами кружков, стать выше угождения своекорыстным требованиям меньшинства, к сожалению, не умела еще до сих пор ни одна европейская литература». Отчего же не могла? Оттого, отвечает он, что «между десятками различных партий почти никогда нет партии народа в литературе. Так, например, множество есть историй, написанных с большим талантом и знанием дела, и с католической точки зрения, и с рационалистической, и с монархической, и с либеральной, – всех не перечесть. Но много ли явилось в Европе историков народа, которые бы смотрели на события с точки зрения народных выгод, рассматривали, что выиграл или проиграл народ в известную эпоху, где было добро и худо для массы, для людей вообще, а не для нескольких титулованных личностей, завоевателей, полководцев и т. п.?» Сам Добролюбов и был одним из вождей «партии народа», а русская литература в целом выполнила миссию такой партии.

Дело, однако, не в том, чтобы признать за нашей отечественной литературой то отличительное качество, которое мы называем народностью, но и в том, чтобы понять, *почему* именно народность определила собой ее природу и характер. Вне такого понимания мы не сможем осмыслить вполне и самую народность как явление общественно-исторической значимости.

«Коренная Россия не в нас с вами заключается, господа умники, – заявил Добролюбов, выражая не собственное только мнение, но по существу – самосознание самой русской литературы, – Мы можем держаться только потому, что под нами есть твердая почва – настоящий русский народ; а сами по себе мы составляем совершенно неприметную частичку великого русского народа».

Освободительная роль (борьба с крепостничеством) русской литературы общепризнана. Не менее велика была ее миссия духовного возрождения народа. Она «взаправду» сроднилась с народом, восприняла его духовные и художественные ценности. Она признала в народе *главную творческую созидательную силу истории* человечества.

Статья М. Горького «Разрушение личности», посвященная осмыслению причин кризиса европейского индивидуалистического гуманизма, не случайно открывается словами, которые вполне могут быть определением существа явления, ставшего исходным моментом самосознания русской литературы: «Народ – не только сила, созидательная все материальные ценности, он – единственный и неиссякаемый источник ценностей духовных, первый по времени, красоте и гениальности творчества философ и поэт, создавший все великие поэмы, все трагедии земли и величайшую из них – историю всемирной культуры...».

Индивидуальный гений не дал ни одного обобщения, в корне которого не лежало бы народное творчество».

Думается, что у нас есть достаточно прочные основания для вывода: русская литература XIX века утвердила *новый тип сознания*, который во многом и определил ее природу, ее качественное отличие от важнейших культурно-исторических эпох, ей предшествующих, таких, как античность, Средневековье, Ренессанс. В той же мере, как, например, природу европейского Ренессанса определяет гуманистическое сознание, природу русского *Возрождения*, начавшегося в XIX веке, – определяет народность.

Однако это заключение, убежден, нуждается по меньшей мере в двух существенных уточнениях. Первое: все вышесказанное ни в коем случае нельзя понимать в том смысле, будто ренессансное искусство совершенно исключает из своей целостности категорию народа, так же, как нельзя видеть в народности явление, начисто отрицающее гуманизм. Но – первый тип сознания ставит в центр мироздания человека-индивида: он Солнце этого мира, он его венец и цель. Все остальное – средство для него, все остальные – его планеты: народ, государство, природа, мир... Центр мироздания, созданного русской литературой, не индивид, но – народ. И второе: конечно, определяющее качество русской литературы отнюдь не возникло из ничего в XIX веке; в той или иной степени оно присуще ей на всем протяжении ее исторического бытия, наиболее ярко проявившись в древнерусской литературе периода X–XIV веков (достаточно вспомнить хотя бы одно только «Слово о полку Игореве», открытие которого в самом конце XVIII века произвело решительный переворот в отношении к нашему культурному наследию древности).

Естественное и до тех пор во многом стихийное начало русской литературы – народность становится в XIX веке явлением вполне осознанным, определяющим самосознание русской литературы, а через нее осмысливается и как существенная сила формирования национального самосознания в целом. Именно такое самосознание и лежит в основе Возрождения русской литературы, то есть как бы нового ее рождения, ее расцвета, ее общественной, общенародной, а в наше время и всемирно-исторической значимости: как некогда итальянский гуманизм в эпоху Ренессанса перерос национальные рамки и сделался явлением общеевропейским, а затем в какой-то мере и общемировым, так и русская литература, обретя всемирную значимость, утверждает ныне в международном диалоге идей (который, к сожалению, как мы знаем, все более обретает характер ожесточенной борьбы) все свое национальное самосознание, действительно противостоящее современным формам буржуазного сознания, в том числе и антигуманизма. Антигуманизма, который, напомню, нередко рядится в одежды классического гуманизма, пользуется его традиционными понятиями, а потому порою и принимается за едва ли не единственно возможную, истинно современную форму человечности или даже всечеловечности.

Кстати, именно в непримиримом отношении русской литературы к любым проявлениям эгоизма, в последовательном самоотрицании ценности личности, противопоставляющей свои интересы интересам нации, народа, самоутверждающейся за их счет, – одна из важнейших причин того, что в отношении русской литературы нередко употребляется понятие «жестокость». Нужно ли еще раз говорить о том, что подобные оценки – если они искренни – как правило, отражают точку зрения буржуазно-гуманистического, а то и прямо антигуманистического сознания.

Вполне понятно, что еще более жестоким с этой точки зрения должен был выглядеть выработанный в условиях бескомпромиссной классовой борьбы пролетарский гуманизм, ставящий во главу всей системы ценностей интересы революционного класса и уже одним этим отрицающий гуманизм классический, буржуазный по сути. В условиях же отсутствия антагонистических классовых противоречий в нашем обществе все более утверждается гуманизм общенародный. Основы именно такого типа гуманизма и складывались еще в недрах русской

классической литературы, утверждались как идеал, как «пророчество» о будущем, на которое и работала русская литература, никогда не ограничиваясь даже и самой насущнейшей злобой дня, но всегда одновременно имея в виду и «отдаленнейшие искания человечества» (Салтыков-Щедрин), созидая «будущее в настоящем» (Чернышевский).

Естественно, что, утверждая новый тип гуманизма, входящего существенной составной в общую систему ценностей нации, русская литература активно формировала и новый тип личности.

Более того: в строгом смысле слова европейский Ренессанс родил не личность, но – индивидуальность. Различие принципиальное. Самосознание ренессансного человека – «рационалистическая эгоцентрика... куда бы человек ни смотрел, с кем бы ни встречался, везде он обречен видеть себя самого... самый ничтожный по натуральным задаткам европейский человек несет в себе зародыш «манна грандиоза», поскольку он захвачен «эпидемией самоутверждения» с роковой неспособностью видеть равноценное с собою бытие в мире...» (А.А. Ухтомский). Личность же начинается не с самоутверждения, не с оценки мира и всего в мире с точки зрения своего *Я*, но со способности «поставить центр тяготения вне себя, *на другом...* предпочесть новооткрывающиеся законы мира и самобытные черты и интересы другого «лица» всяким своим интересам и теориям касательно их... В этом переломе внутри себя человек впервые открывает «лица» помимо себя и вносит в свою деятельность и понимание совершенно новую категорию лица, которое никогда не может быть средством для меня, но всегда должно быть моей целью. С этого момента *и сам человек... впервые приобретает то, что можно в нем назвать лицом*» (выделено А.А. Ухтомским. – К). С.).

Личность начинается не с самоутверждения, но – самоотдачи. При этом происходит как бы самоотречение, пожертвование своего *Я* ради другого. Но – в том-то и «диалектика»: через такого рода отречение от индивидуалистического, эгоцентрического *Я* человек из индивидуума перерождается в личность.

Русская литература, будучи действенной силой формирования нашего национального самосознания, утвердила в качестве такого «другого лица», интересам которого могут и должны быть подчинены индивидуальные интересы, народ, и тем самым утвердила и народ как лицо (как бы соборную личность) и выработала новый тип индивидуальной человеческой личности, способной и готовой на самопожертвование во имя народа.

В священном преклонении личности перед народом не было ее умаления, напротив, это было новое, небывалое возвышение ее уже не как индивида, самоутверждающегося в противопоставлении своего *Я* – «массе», но как выразителя дум и чаяний всего народа; это было подлинное открывание человека в человеке, реабилитация духовности, воскрешение человека, берущего на себя ответственность за судьбу своей страны и народа. Это было, наконец, признание центральности народа в системе общемировых ценностей, ибо человек, открытый и созданный этой литературой, понял, что не он – мера всех вещей, но – народ.

Русская литература XIX века во многом решила задачи, которые Европа еще и не ставила перед собой, но которые ей придется решать, как некогда России, стоявшей перед необходимостью решить для себя проблемы европейского Ренессанса.

XIX век нашей литературы – это подлинно новая эра в истории мировой культуры, *новый этап в истории духовного развития человечества*.

Однако было бы весьма уместно и справедливо задать и такие вопросы: во-первых, а нельзя ли, при желании, усмотреть в наших утверждениях хотя бы скрытый намек на некую исключительность, своего рода «избранность» русской литературы, намек, вскрывающий своего рода «национальную гордыню»? При желании, конечно, можно усмотреть все что угодно желающему, но по справедливости – ничего подобного не усматривается и не может усматриваться, хотя бы уже и потому, что сама русская литература – и это общепризнанно – воплощенное отрицание какой бы то ни было исключительности и избранности. Будучи глубоко нацио-

нальной, она давно уже осознала как явление всемирное. И, наконец, народность ее отнюдь не утверждает идею центральности в системе общемировых ценностей именно русского или какого бы то ни было иного народа (такой тип сознания определяется отнюдь не понятием «народность», но во многом противоположным ему понятием – «национализм»). Скорее уж идею народности можно выразить как утверждение необходимости для каждой национальной культуры видеть мир глазами своего народа. Но именно народа, а не той или иной личности или группы, выдающих свой взгляд за общенародный. Такое утверждение зиждется на убежденности в том, что между народами нет принципиальной, антагонистической несовместимости во взглядах на мир, в их чаяниях и идеалах. И в такой вере, в такой убежденности нельзя не увидеть одно из ярчайших и существеннейших проявлений ее *народности*, которая, вместе с тем, есть и одновременно не что иное, как истинная всечеловечность и, если хотите, – подлинный интернационализм.

Нет, наша отечественная литература – действительно наша национальная гордость, не только не ущемляющая гордости других народов, но – напротив – вызывающая в мире всеобщее восхищение. Наконец, это именно такая гордость, о которой писал В. И. Ленин: «Интерес (не по-холопски понятой) национальной гордости великороссов совпадает с социалистическим интересом великорусских (и всех иных) пролетариев».

Закономерен, думается, был бы и другой вопрос: хорошо, допустим, можно (и должно) согласиться с тем, что русская классическая литература – наша национальная и общечеловеческая гордость, но – зачем сегодня поминать о прошлом, когда у нас достаточно современных проблем? Неужели нет темы поновее?

Как прекрасно и навсегда сказал Герцен, «последовательно оглядываясь па прошлое, мы всякий раз прибавляем к уразумению его весь опыт пройденного пути»; полнее сознавая этот опыт, «мы уясняем современное; глубже опускаясь в смысл былого – раскрываем смысл будущего».

Проблема народности сегодня – одна из наиболее острозлободневных, истинно современных проблем; принцип партийности и народности – неотъемлемое, существеннейшее качество нашей современной литературы. Процесс обновления в нашей литературе, связанный в последние полтора-два десятилетия главным образом с так называемой деревенской прозой, я бы определил словом «возрождение» (с маленькой, пока еще с маленькой буквы) и с необходимым же уточнением: *возрождение в народности*. Лев Толстой, размышляя об упадке литературы в конце XIX века, писал: «Заметили ли вы в наше время в мире русской поэзии связь между двумя явлениями, находящимися между собой в обратном отношении: упадок поэтического творчества всякого рода – музыки, живописи, поэзии и стремление к изучению русской народной поэзии всякого рода...» И делает вывод: «Мне кажется, что это даже не упадок, а смерть с залогом возрождения в народности». Так, например, не случайно известные советские ученые Л.А. Дмитриев, Д.С. Лихачев и О.В. Творогов, размышляя о возрождении традиций древнерусской литературы в современной прозе, замечают и такие его существенные проявления, как «патриотизм, исконно и органически соединявшийся с уважением к другим народам – большим и малым. Это связь с трудовым народом, с крестьянской культурой, которая столь характерна и для современной советской литературы, особенно в его так называемой «деревенской прозе» (статья «Тысячелетие русской литературы»).

Конечно, говоря о такого рода возрождении, было бы в корне несправедливо утверждать, будто традиция народности, как одного из существеннейших проявлений самосознания нашей литературы, когда-либо окончательно прерывалась. Напротив, традиция эта жива в нашей литературе от Горького и Шолохова до наших дней, и однако же – будем искренни до конца, – далеко не всегда находила она достойное художественное воплощение. И нужно со всею определенностью сказать, что никакое другое из литературных явлений последних двух десятилетий (кроме, пожалуй, еще и так называемой «военной прозы») не произвело такого мощного

духовного взрыва нашего общественного сознания, выдвинувшего вопрос о народности в ряд насущнейших вопросов духовного развития общества.

Вопрос этот, естественно, многозначен, в пределах данной статьи есть возможность лишь наметить некоторые из его аспектов.

Советская литература, продолжая и развивая традиции народности русской классической литературы, вместе с тем должна была решать и принципиально новые задачи: если «классическая народность» развивалась как осознание необходимости движения от «культуры» к «народу», то после Октябрьской революции перед ней встала гражданская, поистине невиданная до тех пор задача – подняться непосредственно из народа до вершин мировой и прежде всего отечественной культуры.

Как мы знаем, одно из основных проявлений народности – отношение к литературе не просто как к особому роду деятельности, но – прежде всего – как к показателю духовной, творческой, созидательной дееспособности самого народа.

Литература, безусловно, – показатель. Но она еще и – великий духовный созидатель. На первом этапе своего появления «деревенская проза» художественно убедительно поставила перед обществом ряд серьезнейших вопросов, привлекла общественное внимание к ряду насущнейших проблем не только сугубо деревенской, но и общенародной жизни и уже одним только этим выполнила гражданскую и подлинно партийную задачу общегосударственной значимости.

Однако сегодня уже, думается, литература наша начинает несколько пробуксовывать, я бы даже сказал: порою создается ощущение, что она явно подрастерялась перед решением тех новых задач, которые ставит перед ней жизнь и которые она обязана решать или, по крайней мере, пытаться решать, если она хочет быть и оставаться всегда подлинно народной литературой. Можно бы привести целый ряд примеров, подтверждающих сказанное: здесь и нередко наблюдающееся возвращение к формам бытовой, этнографической народности; ограничение широкого духовно-нравственного, общественно-исторически развивающегося понятия «народ» рамками преимущественно, а то и исключительно крестьянства; наша литература открыла в народных характерах немало существенных черт личности народа в целом, но она все еще проявляет детскую робость перед задачей художественно полноценного воплощения личности мыслителя, политика, идеолога, *деятеля*, героя, готового и способного быть «эхом» своего народа. Стоило бы сказать и о неуверенности в себе, об отсутствии «лирической дерзости» у многих даже и талантливых писателей при решении чисто художественных задач (что всегда приводит к идейно-философской неполноценности произведений): если даже вообразить себе сегодня появление современной повести, скажем, уровня «Мертвых душ» или поэмы ранга «Медного всадника» (лучшие наши прозаики и поэты достаточно искушены технически), то вряд ли кто дерзнет сегодня на полет «птицы-тройки» в своих «Мертвых душах», вряд ли проскачет «кумир на бронзовом коне» «по гулкозвучной мостовой» в нынешнем «Медном всаднике», напрасно будем мы ждать появления «великого инквизитора» за столиком какой-нибудь скромной общепитовской столовки в современном романе из жизни провинциального городка...

Но сейчас речь даже не об этом. Сейчас хочется сказать только о главном.

Позволю себе снова обратиться к опыту русской классической литературы, которая всегда была не только «критической», но и прежде всего – созидательной, умеющей даже в хаосе текущей деятельности провидеть будущее, выявить законы нового созидания и утверждать их в сознании народа, а значит тем самым и решительно способствовать проявлению такого созидания в реальной жизни.

Наша литература умела не только относиться к жизни «критически» (отчего ее реализм и был определен как «критический»), но и утверждать в обществе *идеал* нового человека и новых форм общественной жизни.

Вот эту-то задачу – задачу художественно-философского осмысления и утверждения в обществе идеала (не идеализации жизни, но именно утверждения идеала; а идеал, как справедливо полагал Достоевский, – «та же действительность», но рассматривая не «сблизки», а соразмерно будущему) – эту-то задачу художественного утверждения общенародного идеала и выдвигает – в чем убежден – перед нашей литературой новый этап ее движения к подлинному «Возрождению народности».

Требовать от нее решения такой задачи можно и необходимо, ибо литература наша вполне в состоянии справиться с ней, но обвинять ее сегодня за то, что она пока еще не решила эту задачу, – неправомерно. Слишком ответственна и художественно нелегка эта задача. Процесс творческого становления идеи народности в современной литературе продолжается, ищет формы и способы перехода в новое качество. Нужен срок и условия для такого перехода.

1981

Златая цепь, или Опыт путешествия к первоисточкам народной памяти

У лукоморья дуб зеленый, Златая цепь на дубе том...
А. С. Пушкин

Помнится, когда «Книжное обозрение» объявило наконец о выходе «Древа жизни»⁷, хотелось звонить, кричать, убеждать друзей, знакомых и незнакомых, как это делал некогда М. Горький в одном из своих писем: «Если попадетсЯ Вам в руки книга Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу» – хватайте и читайте внимательно!» За что же такая честь? «Так как народ наш – герой, что бы там ни кричали модники, – объяснял тот же М. Горький, – то для знакомства с его духом, с его творчеством хорошо бы знать книгу Афанасьева... – старая, но добрая книга и сделана с любовью».

Полностью трехтомный фундаментальный труд Александра Николаевича Афанасьева, известного нам прежде всего как издателя «Русских народных сказок», – труд, вышедший в 1865–1869 годах и с тех пор ни разу не переиздававшийся, – этот труд называется «Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов».

«Забегая вперед, – справедливо пишет автор вступительной статьи к «Древу жизни», – отметим, что подобного труда до АН. Афанасьева не знала не только русская, но и зарубежная наука», и «этот опыт до сих пор никем не превзойден...».

«Особое значение труда Афанасьева заключено в богатстве громадного собранного материала, в установлении живых связей языка и предания в их историческом развитии. Этот бесценный материал почерпнут из истории, этнографии, мифологии, словотворчества десятков народов. В этом смысле «Поэтические воззрения» глубоко интернациональны.

Исследование Афанасьева имеет огромную познавательную ценность, и, как всякое явление культуры, оно не только воскрешает для нас далекое прошлое, но и служит дню сегодняшнему. Книга обратит читателя к истокам нашего современного языка и бытового поведения, раскроет «темные места» и метафоры литературы, фольклора и обычаев...

Книга воскрешает корни и раскрывает словообразовательные возможности нашего языка и тем самым будет препятствовать его порче, засорению. Наконец, она просто интересна, увлекательна. Это не сухой научный труд, а произведение сложного жанра, где сливаются в полную водную реку Память и Слово.

Необходимость в переиздании «Поэтических воззрений» назрела давно. Это уникальное, ценнейшее исследование практически недоступно молодым ученым, тем более – широкому кругу читателей, людей, интересующихся отечественной историей, проблемами языка».

Конечно, «Древо жизни» никоим образом не может заменить собой того поистине мирового космического древа, коим предстают собранные вместе поэтические воззрения славян в полном, трехтомном издании, но – хочется верить в это – оно послужит напоминанием о насущной необходимости полного переиздания, а вместе с тем и наглядным, убедительным доказательством его современной насущности и необходимости, куда более серьезных сегодня, нежели в эпоху Афанасьева.

«Древо жизни» – так называется один из разделов труда великого подвижника народной культуры. «Древо жизни» – так решили озаглавить и вышедшую недавно книгу избранных его трудов. И уже в этом заглавии есть глубокий и мудрый смысл. Какой?

⁷ Афанасьев А.Н. Древо жизни: Избранные статьи. М., 1982.

Трудно, а то, пожалуй, и вовсе невозможно отыскать ныне хоть одного русского или хотя бы умеющего читать по-русски, которому не были известны строки, вынесенные в эпиграф этой статьи. Эти стихи нашего национального поэта, казалось бы, столь просты, они так естественно с детства и на всю потом жизнь входят в наше сознание, что мы вряд ли даже когда задумывались: а в чем, собственно, завораживающая и, если называть вещи прямо, очаровывающая сила этого, почти физически осязаемого, зримого нами сказочного образа? Какой сокровенный смысл, не тотчас дающийся осознанию, явно чувствуется в нем? Словно сама живая вода мерцает нам из таинственных глубин волшебного колодца народной памяти.

Или я не прав и все это выдумки? Как заметил еще Лермонтов:

Есть речи – значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волнения
Внимать невозможно...

Не так ли и здесь – внимать без волнения пушкинские строки (Пушкин ведь все-таки!) невозможно, но и стоит ли придавать некое особое значение каждой его строке только потому, что она пушкинская? Допустим, что даже и так – не стоит. Но здесь-то, в этом конкретном примере, случайно ли «пушкинский дуб» возвышается у самого входа в мир русской сказки? Случайно ли путь в тот мир, о котором сам Пушкин сказал: «Там русский дух, там Русью пахнет», – начинается с дуба, а ведет нас тот путь, как мы помним, через мир сказки – в иной мир, в «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой», и оба они связаны единой «златой цепью»: ведь сказочный зачин не приставка, но необходимый пролог к поэме «Руслан и Людмила». Так что – не очевидно ли? – вряд ли можно отнести слово Пушкина о дубе с златой цепью на нем в разряд тех речей, чье «значение ничтожно», а вот признать, что значенье это остается для нас во многом и до сих пор темно, – было бы, пожалуй, справедливо. Почему так? Да потому, прежде всего, что – как заметил о нас не без грусти и упрека тот же Пушкин – «мы ленивы и нелюбопытны». Впрочем, далеко не всегда и не во всем.

Мы, например, достаточно свободно ориентируемся в древнегреческой мифологии (главным образом благодаря интересной и популярной книге Н. Куна), и наверняка большинство из нас не спутает Аполлона с Аресом, Афродиту с Афиной, легко ответит: кто есть кто, кто кому кем приходится, кто чем славен и т. д.

Но попробуйте спросить у иного образованного, начитанного русского, вполне серьезно считающего себя культурным человеком, почему, скажем, в «Слове о полку Игореве» русичи именуются Дажьдбожыми внуками, а песнопевец Баян – Велесов внук? Кто они такие, Дажьдбог, Велес, Ярила, Стрибог, Мокошь, Хоре, Перун, Сварог, Лада, Прия, Жива, Коло, Род? Какие древнейшие мифические и полупоэтические персонажи проглядывают через образы и деяния наших былинных героев – Святогора, Микулы Селяниновича, Потока, Дуная, Волхва Всеславича, Ильи Муромца, Добрыни Никитича? В какие эпохи уводят нас сказочные образы Ивана-царевича, Царевны-лягушки, Василисы Премудрой, Царевны Несмеяны? Какие конкретно исторические реалии претворены народной фантазией в образы Никиты Кожемяки, пропахавшего на Змее Горыныче Змиевые валы (кстати, сохранившиеся частично и до наших дней); какие древнейшие общеиндоевропейские культурные представления сохраняла народная память в таких образах, как Жар-птица, Три царства, Хрустальная гора, Сивка-Бурка, Петушок Золотой гребешок, Медведко, Покати-горошек, которого ученые не без основания на то называют славянским Гераклом? Что это за такие времена, о которых говорят: «Былоде при Царе Горохе»? Что знаем мы о полупоэтических праотцах и вождях славянских? Кто такие Рус, Чех и Лях, Родим, Вятко? Под какими именами известны древние славяне? Почему многие из исторически засвидетельствованных гуннских и древнегерманских вождей носят

славянские имена? Каковы древнейшие мифы, сказания, легенды, космические, этические, эстетические воззрения древних славян? К какой эпохе относят современные исследователи ранние из дошедших до нас славянских сказаний?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.